

— ГОРМЕНГАСТ —



МЕРВИН ПИК
ТИТУС ГРОАН

КЛАССИКА АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
иллюстрации автора

LIVE
BOOK

Мервин Пик
Титус Гроан
Серия «Горменгаст», книга 1

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6721672
Титус Гроан: Livebook/Гаятри; М.: 2014
ISBN 978-5-904584-79-5

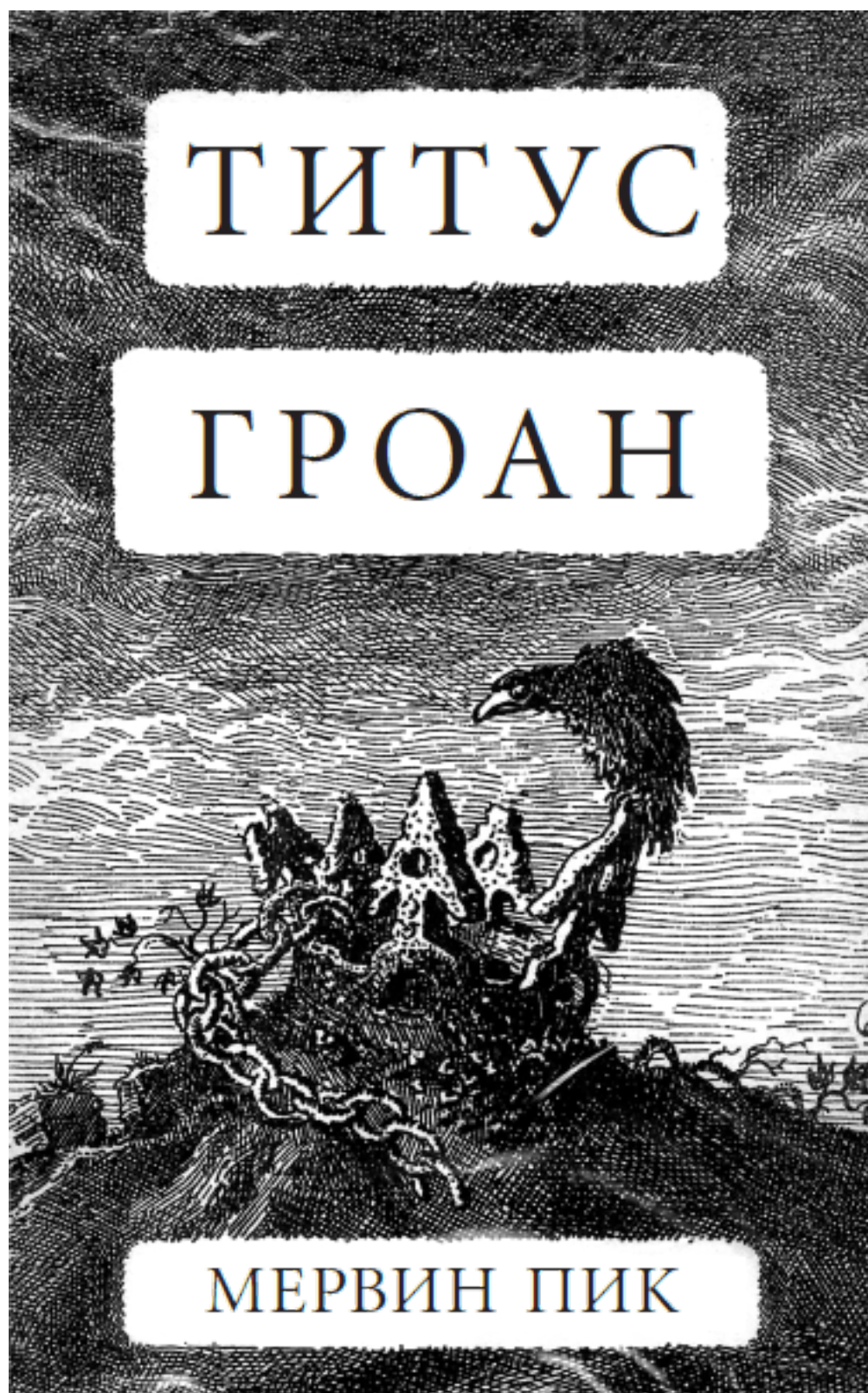
Аннотация

Уже семьдесят шесть поколений замком Горменгаст правит древний род Гроанов, существование которого основано на Ритуале и окутано им, как паутиной. В этих стенах «вспышки страстей, не превышающие размахом свечного пламени, мерцают и гаснут при всяком зевке Времени, ибо Горменгаст, огромный, расплывчатый, все перемалывает в прах». Рождение юного Титуса нарушило безмолвие обитателей каменного улья.

Написанный 70 лет назад, роман «Титус Гроан» стал литературной классикой и положил начало фундаментальной трилогии о замке Горменгаст, известной во всём мире.

Содержание

От переводчика	5
Титус Гроан	7
ЗАЛ БЛИСТАЮЩЕЙ РЕЗЬБЫ	7
ВЕЛИКАЯ КУХНЯ	15
СВЕЛТЕР	19
КАМЕННЫЕ ПРОУЛКИ	25
«ГЛАЗОК»	31
ФУКСИЯ	35
«СВЕЧНОЕ САЛО И ПТИЧЬЕ СЕМЯ»	37
ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО ДЛЯ ТИТУСА	40
СЕПУЛЬКРЕВИЙ	43
КОЛЕНО ПРЮНСКВАЛЛОРА	47
ЧЕРДАК	53
«ГОСПОЖА ШЛАКК ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ»	60
КИДА	65
«ПЕРВАЯ КРОВЬ»	67
«АССАМБЛЕЯ»	73
«ТИТУС КРЕЩАЕТСЯ»	79
ПУТЬ НА ВОЛЮ	85
«ПОЛЕ КАМЕННЫХ ПЛИТ»	87
«ПО КРОВЕЛЬНОЙ СТРАНЕ»	89
Конец ознакомительного фрагмента.	90



Мервин Пик Титус Гроан

От переводчика

Мервин Пик родился в 1911 году в Китае, где отец его служил миссионером, и там же провел первые годы жизни. Образование получил в Англии и уже к 1935 году приобрел известность как художник и поэт. В начале Второй мировой войны он оказался в пехоте, но военной карьеры не сделал – возможно, и потому, что случайно дотла сжег казарму, в которой квартировала его часть. Еще состоя на армейской службе, Пик начал писать роман «Титус Гроан», принесший ему (уже после войны) славу и ставший первым романом эпопеи, ныне известной как трилогия «Горменгаст». Собственно говоря, она не задумывалась как трилогия – сохранились наброски четвертого романа, также, вероятно, не последнего, – однако судьба распорядилась по-своему: в начале 60-х Пика поразила болезнь Паркинсона, постепенно приведшая к утрате рассудка, а там и к смерти (в 1968 году).

Совсем незадолго до кончины Пика трилогия эта приобрела мировую известность, которой она во многом обязана американским издателям литературы жанра «фэнтези». К этому времени стал спадать порожденный сочинениями Толкина издательский бум, и издатели принялись искать новое имя, способное обеспечить не меньшие, чем у Толкина, тиражи. Поиски привели к Пику, ставшему в результате одним из трех китов, на которых держится мир «фэнтези» (третьим числится Т. Х. Уайт). Строго говоря, к жанру «фэнтези», каким он сложился к нашему времени, произведения Пика отношения не имеют. Его место скорее рядом со Свифтом, Диккенсом, Гоголем, Гофманом и Кафкой. Образующие трилогию романы Пика вообще жанровому определению поддаются с трудом, что, возможно, и делает их чтением для так называемого «массового читателя» малоинтересным, если не скучным. Дело еще и в том, что, говоря о них, трудно ответить на обычно возникающий в таком разговоре первый вопрос: «А про что там?»

Действительно, про что? Я бы сказал – про поиски свободы. Поиски, итог которых никогда окончательного удовлетворения не приносит. Пиковский замок Горменгаст схож с замком Кафки, только в последний, похоже, невозможно попасть, а первый очень трудно покинуть. Титусу, герою трилогии, это удастся лишь в конце второго романа, и в третьем он попадает в мир, совершенно для него, да и для читателя тоже, непривычный, – «современный» мир с автомобилями, самолетами (почему-то, однако, кровоточащими) и «перемещенными лицами», обитающими на дне реки. Свобода, завоеванная Титусом, оборачивается одиночеством, едва ли не неверием в собственное существование, в существование своего прошлого, неверием, в конце концов вынуждающим его отправиться назад, на поиски Горменгаста, – но лишь для того, чтобы, найдя замок, взглянуть на него с вершины горы, убедиться, что он реален, и возвратиться в свой новый мир.

Стоит, наверное, сказать несколько слов, – предвосхищая вопросы и укоры, которые возникнут почти наверняка, – о переводах, если так можно выразиться, имен. Кто-то из критиков сказал когда-то, что имена персонажей Пика отзываются диснеевскими мультфильмами. И тут возникают сложности. Еще в одном переводе второго романа, озаглавленном «Замок Горменгаст» (Киев, «Фита», 1995), Титус Гроан носит имя Тит Стон, Прюнскваллор – Хламслив, Сепулькревий – Гробструп, Свелтер – Потпуз, Саурдуст – Пылекисл, Стрипайк – Щуквол (дотошности ради надлежало бы соблюсти в этом имени порядок следова-

ния животных: *Steerpike* = Волощук, оно киевлянам было бы и ближе). Впрочем, Флэй по непонятной причине Флэем и остался, хоть английское:

Flay – сдирать кожу; свежевать; чистить; бранить; разносить; грабить;
вымогать; содрать кожу; снимать кожицу; обдирать кору; сдирать; содрать;
освежевать; разорять; драть шкуру...

– и позволяло соорудить какого-нибудь Сдира, Шкура или Брана. Уцелел и Горменгаст, но тут как раз все понятно: книга известна под этим названием во всем мире, а, скажем, превращать графа Монте-Кристо в графа Христогорова или Гамлета – в Хутор никому же в голову не придет. Или придет?

Я избрал путь средний: те имена, какие мне удалось перевести, не совершая насилия над собой, читателем и русским языком, перевел. *Bellgrove* стал Кличбором, *Fly* – Мухом, *Fluke* – Трематодом и так далее. Те же, какие не удалось, менять не стал. Что делать, любой перевод несовершенен – как и любой объект перевода. Увы.

Сергей Ильин

Титус Гроан

*Насущный хлеб один? Иль ты б хотел узреть
Лицо средь облака и с ним поговорить?*

Баньен¹

ЗАЛ БЛИСТАЮЩЕЙ РЕЗЬБЫ

Горменгаст, то есть главная глыба изначального камня, взятый сам по себе, возможно, являл бы какие-то громоздкие архитектурные достоинства, если бы можно было отвлечься от его окружения – от жалких жилищ, заразной сыпью облепивших его внешние стены. Они вползали по земляным откосам, каждое следующее забиралось чуть выше соседа, цепляясь за крепостные валы, пока наконец последние из лачуг не подбирались к огромным стенам, впиваясь в их камень точно пиявки. Право на такого рода хладную близость с нависшей над ними твердыней жаловал этим жилищам древний закон. На их разновысокие кровли падали год за годом тени изгрызенных временем контрфорсов, надменных крошащихся стрельниц и, крупнейшая из всех, тень Кремнистой Башни. Башня эта, неровно заляпанная черным плющом, торчала средь стиснутых кулаков бугристой каменной кладки, как изувеченный палец, святотатственно воткнутый в небеса. Ночами совы обращали ее в гулкую глотку эха, днем же она стояла безгласно, отбрасывая длинную тень.

Обитатели этих внешних лачуг и те, кто жил *внутри* замковых стен, виделись редко, лишь первого июня каждого года все население глиняных хижин получало право войти в замок, дабы выставить на показ деревянные изваяния, над которыми население это трудилось весь год. Блистающие странными красками статуи представляли обыкновенно животных либо людей, изображая и тех и других в прилежно блюдомой резчиками чрезвычайно стилизованной манере. Соревнование между ними, цель которого состояла в определении лучшего творения года, отличалось яростью и неистовством. После того как для них проходила пора любви, им оставалась только одна страсть – страсть к ваянию деревянных скульптур. В хижинах, беспорядочной грудой наваленных у внешней стены, ютилась горстка истинных творцов, признаваемых среди резчиков лучшими, и это признание доставляло им почетное место среди теней.

На некотором месте *внутри* Внешней Стены из земли на несколько футов выступали огромные камни, из которых стена и была сложена – подобие скального выступа, тянувшегося на две-три сотни футов с востока на запад. Камни были покрашены в белый цвет, и вот на этом-то возвышении в первое июньское утро каждого года выставлялись на суд графа Гроанского резные скульптуры. Произведения, сочтенные самыми совершенными, а таких никогда не бывало более трех, отправлялись в Зал Блистающей Резьбы.

Яркие изваяния, целый день сохранявшие неподвижность – лишь фантастические тени их ползли, от часа к часу удлиняясь, по стене за ними, отвечая вращению солнца, – источали, при всей живости их красок, подобие тьмы. Воздух между ними наливался ревностью и презрением. Мастера стояли близ них, будто нищие попрошайки, сзади жались друг к другу, домочадцы ваятелей, нескладные, рано увядшие. Все, что когда-то светилось в них, угасло.

Не удостоившиеся избрания статуи сжигались тем же вечером во дворе замка, под западным балконом лорда Гроана, который, согласно обычаю, стоял наверху, пока сгорало

¹ Джон Баньен (1628–1688) – английский проповедник и писатель, автор аллегории «Путь паломника» (1678–1684). – *Здесь и далее примечания переводчика.*

дерево, склонив, словно бы в муке, голову; затем за его спиной трижды бухал гонг и в лунном свете три избежавших сожженья скульптуры уносили со двора. Их выставляли на балюстраде балкона для показа тем, кто толпился внизу, и граф Гроанский приказывал создавшим их мастерам выступить из толпы. Когда они застывали прямо под ним, Граф бросал вниз традиционные пергаментные свитки, дававшие этим людям письменное дозволение прогуливаться в полнолуние каждого второго месяца над своими лачугами по зубчатой стене. В такие ночи можно было видеть из окна, пробитого в южной стене Горменгаста, как снуют от бойницы к бойнице крохотные, освещенные луной человечки, чье мастерство завоевало им почеть, которой они так жаждали.



Если не считать Дня Изваяний и вольности, дарованной бесподобнейшим из резчиков, никаких иных возможностей познакомиться с «внешним» людям у тех, кто жил в окружении стен, не было, да «внутренний» мир и не интересовался этими существами, потонувшими в тени великих стен.

То было почти забытое племя: о нем вспоминали редко, с внезапным удивлением или с ощущением нереальности, какое несет с собой вдруг возвратившееся сновидение. Только День Изваяний и выводил их под солнечный свет, только он пробуждал воспоминания о былых временах. Ибо даже на памяти Неттеля, восьмидесятилетнего старца, ютившегося в башне над хранилищем ржавых доспехов, церемония эта выполнялась всегда. Бесчисленные скульптуры, повинувшись закону, обратились в дымящийся пепел, избраннейшие же с незапамятных времен населяли Зал Блистающей Резьбы.

Зал этот, занимавший верхний этаж Северного крыла, находился на попечении смотрителя по прозванию Ротткодд, который, поскольку сюда никто никогда не заглядывал, почти всю свою жизнь проспал в гамаке, подвешенном в дальнем конце зала. При всей его сонливости, Ротткодда ни разу еще не видели без перьевой метелки в кулаке — метелки, посредством которой он исполнял одну из двух главных работ, безусловно необходимых в этом длинном и безмолвном покое, а именно — сметал с Блистающих Изваяний пыль.

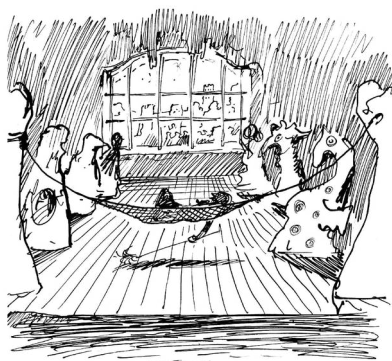
В качестве произведений искусства изваяния нимало его не занимали, и все же к некоторым из них он, против собственной воли, питал нечто схожее с соседской приязнью. Изумрудного Коня он обметал с несколько большим, нежели обычное, тщанием. Особый уход получали также оливково-черная Голова, глядевшая на Коня со своей полки, и Пегая Акула. Впрочем, нельзя все же сказать, будто имелись скульптуры, на которых он позволял пыли скопиться.

Входя сюда в семь утра, год за годом, зимою и летом, Ротткодд сбрасывал куртку и натягивал через голову серый, бесформенный, длинный, до щиколок, балахон. Потом, зажав метелку под мышкой, он поверх очков привычно окидывал зал исполненным пронизательности взглядом. Головка у него была маленькая, темная, похожая на проржавевшую мушкетную пулю, а глаза за поблескивающими очками походили на две миниатюрных копии этой головки. Вся троица пребывала в непрестанном движении, словно наверстывая время, потраченное ею на сон; голова механически покачивалась при ходьбе, глаза, словно беря пример с вышестоящего органа, которому их подчинили, рыскали туда, сюда и никуда в

частности. Скользнув поверх очков взглядом по двери и повторно обрыскав им все Северное крыло целиком, облаченный в балахон господин Ротткодд совершал следующий ритуальный поступок – вытягивал из-под мышки метелку и, воздев это оружие, без чрезмерного пыла насканивал на первое изваяние справа. Зал, располагавшийся на верхнем этаже Северного крыла, был, если честно сказать, не таким уж и залом, а пожалуй что чердаком. Единственное окно находилось в дальнем его конце, прямо против двери, через которую Ротткодд проникал сюда из более высокой части замка. Свету оно давало мало. Шторы неизменно оставались опущенными. Ночью и днем Зал Блισταющей Резьбы освещался семью огромными паникадилами, свисавшими с потолка ровно через девять футов одна от другой. Свечам, воткнутым в них, никогда не дозволялось не только падать, но даже и оплывать, Ротткодд перед тем, как в девять вечера удалиться отсюда, лично заботился об их замене и пополнении. В маленькой прихожей, предвоявшей вход в зал, хранился запас восковых свечей, здесь же Ротткодд держал свой балахон, здоровенную, белую от пыли книгу посетителей и стремянку. Стульев, столов да собственно и никакой иной мебели в зале не имелось, если не считать подвешенного вблизи окна гамака, в коем спал Ротткодд. Дощатый пол побелел от пыли, которой, поскольку ее с таким усердием гнали со статуй, больше некуда было улечься – вот она и скапливалась на полу, отдавая особое предпочтение четырем углам зала, глубокая, похожая на пепел.

Обметая первую фигуру справа, Ротткодд механически перемещался вдоль длинной красочной фаланги, на миг останавливался перед очередным изваянием, смеривал его сверху донизу взглядом, и голова его понимающе покачивалась. Затем он пускал в ход метелку. Ротткодд был холост. Когда ему приходилось с кем-либо знакомиться, на лице его выражалась отчужденность, даже испуг, женщины же испытывали в его присутствии необъяснимый страх. Так что существование он вел идеальное, одиноко коротая день и ночь на длинном чердаке. Правда, время от времени кто-то из слуг или обитателей замка по той или этой причине неожиданно забредал к Ротткодду, пугая его каким-нибудь связанным с ритуалом вопросом, но после пыль вновь оседала – и в зале, и в душе господина Ротткодда.

О чем он грезил, лежа в своем гамаке, подсунув согнутую в локте руку под пулевидную голову? О чем мечтал, час за часом, год за годом? Трудно вообразить, что его посещали некие великие мысли, трудно даже представить, будто Ротткодд, – при том, что скульптуры яркими рядами текли над пылью в сужающуюся даль, словно стража, расставленная вдоль пути императора, – пытался извлечь какую-то пользу из своего одиночества, нет, скорее он наслаждался им ради него самого, страшаясь в глуби сознания любого незваного гостя.



И вот одним влажным днем гость все-таки явился к нему, нарушив покой Ротткодда, утопавшего в своем гамаке, – послеполуденный отдых его прервал резкий дребезг дверной ручки, которую посетитель, по-видимому, дергал, предпочитая эту методу приему более привычному – стуку в дверные доски. Звук, отзываясь эхом, пронесся вдоль длинной залы

и потонул в пыли дощатых полов. Солнце протиснулось в узкие щели штор. Даже в эти жаркие, душные, нездоровые послепопуденные часы шторы были опущены и свечи заливали зал никчемным светом. Заслышав дребезжанье дверной ручки, Ротткодд рывком сел. Узкие лучи пробившегося сквозь шторные щели пыльного света исполосовали его темную голову отблесками наружного сияния. Пока он выбирался из гамака, свет блуждал по его плечам, между тем как глаза Ротткодда метались вверх-вниз по двери, вновь и вновь возвращаясь из торопливых, стремительных странствий к взволнованно дергавшейся ручке. Стиснув правой рукой перьевую метелку, Ротткодд двинулся по красочному проходу, каждый шаг его вздымал облачко пыли. Когда он наконец добрался до двери, ручка трястись перестала. Торопливо пав на колени, Ротткодд припал правым глазом к замочной скважине и, умерив привычное мотание головы и рысканье левого глаза (продолжавшего блуждать по двери), сумел, благодаря этому подвигу сосредоточения, углядеть, в трех дюймах от своего вникающего в скважину ока, око определенно чужое, ибо оно не только рознилось цветом от его железного шарика, но и находилось, что убеждало в его чужести гораздо сильнее, по другую сторону двери. Этот третий глаз, занятый тем же, чем и Ротткоддов, принадлежал Флэю, немногословному слуге Сепулькревия, графа Горменгаст. Чтобы Флэй удалился от покоев своего господина на четыре комнаты по горизонтали и на целый этаж по вертикали – такое случалось в замке очень нечасто. Само его отсутствие в хозяйских покоях почиталось ненормальным, и тем не менее, в этот душный летний день глаз Флэя очевидным образом обретался в непосредственной близости от замочной скважины, прорезанной в двери Зала Блισταющей Резьбы, – приходилось, стало быть, предположить, что и иные составные части этого господина находятся где-то поблизости. Признав друг друга, глаза одновременно отпрянули, и дверная ручка вновь застрекотала под рукой посетителя. Ротткодд вонзил в замочную скважину ключ, повернул его, и дверь медленно растворилась.

Возникшая в дверном проеме фигура господина Флэя заполнила его целиком, – Флэй стоял, скрестив на груди руки и без всякого выражения взирая на замершего перед ним человека. Взглянув на костлявое лицо господина Флэя, трудно было вообразить, будто обладатель его способен произнести хоть что-то, уподобляющее его обычному человеку, от этого господина приходилось ждать чего-то более ломкого, старческого и сухого, чего-то походящего на звук, издаваемый старой щепой или осколками камня. Но вот жесткие губы его разделились.

– Это я, – сообщил он и вошел в зал, наполнив его хрустом коленных суставов. Он вошел в зал, – как шел и по жизни, – сопровождаемый этими тресклыми звуками, подобными тем, с какими ломаются иссохшие сучья, по одному всхрусту на шаг.

Ротткодд, убедясь, что это и вправду Флэй, раздраженно повел рукой, бессмысленно приглашая гостя войти, и затворил дверь.

Уменьше вести беседу не принадлежало к числу сильных сторон господина Флэя, а потому он некоторое время безрадостно взирает прямо перед собой, затем – Ротткодду показалось, что прошла целая вечность – поднял костлявую длань и поскреб ею за ухом. Исполнив это деяние, он произнес вторую фразу:

– Все еще здесь, а? – и видно было, какие усилия приходится предпринимать голосу господина Флэя, чтобы протиснуться сквозь его губы.

Ротткодд, похоже, почувствовав, что отвечать на этот вопрос особой нужды не имеется, пожал плечами и отправил свой взгляд гулять по потолку.

Господин Флэй, поднатужившись, продолжил:

– Я говорю, все еще здесь, а, Ротткодд? – Он со злобой оглядел Изумрудного Коня. – Все еще здесь, а?

– Я всегда здесь, – сказал Ротткодд, опустив поблескивающие очки и проехавшись глазами по физиономии господина Флэй. – Изо дня в день, всегда. Очень жаркая погода. До чрезвычайности душно. Вам что-нибудь угодно?

– Ничего, – сказал Флэй и с непонятной угрозой повернулся к Ротткодду. – *Ничего* мне не угодно.

Он вытер ладони о штанины, темная ткань которых светилась, наподобие шелка.

Ротткодд стряхнул метелкой пыль со своих туфель и склонил пулевидную голову на плечо.

– А, – неопределенным тоном произнес он.

– Вы сказали «а», – отметил Флэй, поворачиваясь к Ротткодду спиной и начиная двигаться по проходу, – а я вам говорю, что теперь одним «а» не отделаться, понадобится кое-что посильнее.

– Конечно, – сказал Ротткодд. – Я бы даже сказал, куда как сильнее. Только я в этом мало что смыслю. Я ведь Смотритель.

Сообщив это, он вытянулся в струнку и приподнялся в пыли на цыпочки.

– Как? – переспросил Флэй, нависая над ним, ибо он, Флэй, уже вернулся. – Смотритель?

– Именно, – ответил Ротткодд, кивая.

Из горла Флэй изошел резкий всхрип. Ротткодд истолковал его в том смысле, что Флэй ничего не понял, и разозлился, что такому человеку дозволяется лезть в сферы, по праву принадлежащие ему, Ротткодду.

– Смотритель, – после жутковатого молчания вымолвил Флэй. – Я вам кое-что скажу. Кое-что знаю, поняли?

– Что же? – спросил Ротткодд.

– Сейчас, – сказал Флэй. – Но сначала – какой нынче день? Какой месяц, год? Ответьте.

Ротткодда такой вопрос озадачил, однако им уже овладело вялое любопытство. Он понял, что у этого костлявого мужлана что-то такое есть на уме, и потому ответил:

– Восьмой день восьмого месяца, насчет года не уверен. А что?

Голосом еле слышным Флэй повторил:

– Восьмой день восьмого месяца. – Глаза его стали почти прозрачными – так в уродливых холмах находишь среди грубых камней два озерца, в которых отражается небо. – Подойдите ко мне, Ротткодд, – сказал он. – Подойдите поближе, я вам скажу. Вы не понимаете Горменгаста, того, что происходит в Горменгасте, что в нем случается, – нет, не понимаете. Ниже вас – то есть там оно все и происходит, под вашим Северным крылом. Все эти штуки к чему? Вот эти, деревянные. От них теперь никакого проку. Смотрите за ними, а проку ни-ни. А там все движется. Замок движется. Нынче он один, его светлость, впервые за много лет. Я его не вижу. – Флэй прикусил костяшку на кулаке. – В спальне у ее светлости, вот он где. Ихняя светлость не в себе: меня не взял, не дал поглядеть на Нового. Новый. Он родился. Теперь внизу. Я не видел.

Флэй опять прикусил костяшку, но на другом кулаке, как бы желая уравновесить ощущения.

– Никого не пускают. Еще бы. Я буду следующий. Птицы расселись по спинкам кровати. Ворон за вороном, скворцы, вся шатия, и белый грач с ними. И пустельга тоже: вцепилась когтями в подушку. Госпожа кормит их корками. Зерном и корками. На новорожденного почти и не глянула. Наследник Горменгаста. Не смотрит на него. Зато господин мой так и устался. Видел его сквозь решетку. Я ему нужен. А не впустил. Вы слушаете?

Разумеется, господин Ротткодд слушал. Прежде всего, он в жизни не слышал от господина Флэй столь длинной речи, да и известие о том, что в древнем, превознесенном самой историей доме Гроанов наконец родился наследник, тоже представляло кое-какой интерес

для Смотрителя, ведущего одинокую жизнь на чердаке заброшенного Северного крыла. Теперь ему будет, чем занять мысли, хватит надолго. Господин Флэй не ошибся, сказав, что он, Ротткодд, похоже, не ощущает, полеживая в гамаке, биения жизни в замке, ибо Ротткодд, если правду сказать, и не подозревал, что на свет должен появиться наследник. Еду ему доставлял маленький подъемник, возносившийся из расположенных многими этажами ниже помещений для слуг, а спал он в прихожей и, вследствие этого, был совершенно отрезан и от мира, и от всех происходящих в мире событий. Так что Флэй принес ему настоящую новость. И все-таки, несмотря на важность полученного известия, господин Ротткодд сердился, что его потревожили. В пулевидной его голове вертелся вопрос, касающийся появления господина Флэя. С какой стати Флэй, который при обычном течении жизни, увидев его, даже бровью не поводит в знак приветствия, – с какой стати он залез в эту часть замка, столь для него чужую? Да еще и разговор вон какой затеял, это Флэй-то, из которого слова не выдавишь. Господин Ротткодд с присущей ему торопливостью обшарил Флэя глазами и вдруг к собственному удивлению выпалил:

– А чем объяснить ваше присутствие здесь, господин Флэй?

– Чего? – произнес Флэй. – О чем это вы? – Он уставился на Ротткодда сверху вниз, и глаза его остекленели.

Честно говоря, Флэй и сам себе удивлялся. Действительно, – думал он, – с какой стати ему приспичило сообщать Ротткодду новость, столь важную для него самого? Почему Ротткодду, а не кому-то другому? Некоторое время он продолжал таращиться на Смотрителя, и чем дольше он так стоял, размышляя, тем яснее ему становилось, что услышанный им вопрос неприятно уместен, и это еще слабо сказано.

Застывший перед ним человек задал прямой вопрос. И нужно признать, довольно трудный. Подволакивая ноги, Флэй сделал два шага к господину Ротткодду, но затем, с силой воткнув кулаки в карманы штанов, с нарочитой неторопливостью развернулся на каблуках.

– Да, – наконец выдал он, – я понял, что вы хотели сказать, Ротткодд, я вас понял.

Ротткодду не терпелось вернуться в гамак и снова предаться наслаждениям полного одиночества, и все же, услышав эту фразу, он с даже большей, чем обычно, поспешностью обыскал глазами лицо господина Флэя. Тот уверяет, будто понял, что хотел сказать Ротткодд. Неужто и вправду понял? Весьма интересно. Но что, собственно говоря, он хотел сказать? Что именно понял господин Флэй? Ротткодд смахнул воображаемую пылинку с позолоченной головы дриады.

– Вас взволновали роды? – осведомился он.

Какое-то время Флэй простоял с таким видом, словно не услышал его, однако спустя несколько минут стало ясно, что услышал и услышанным поражен.

– Взволновали! – низко и хрипло воскликнул он. – Взволновали! Это дитя Гроанов. Настоящий Гроан, мужчина. Зов к переменам! Никаких *перемен*, Ротткодд. Никаких перемен!

– Ага, – сказал Ротткодд. – Теперь понятно, господин Флэй. Однако до кончины его светлости пока еще далеко, не так ли?

– Да, – ответил господин Флэй, – далеко, но ведь *зубы-то уже растут!* – И с этим он длинными, как у цапли, шагами направился к реечным шторам, вздымая за собой пыль. Когда пыль осела, Ротткодд увидел, что Флэй стоит, прислонив угловатую, цвета пергамента голову к переплету окна.

Ответ, данный им на вопрос Ротткодда касательно причин его появления в Зале Блистающей Резьбы, не вполне удовлетворил господина Флэя. Он стоял у окна, а вопрос снова и снова повторялся в его голове. Почему Ротткодд? Почему он, а не кто-либо другой? При всем при том господин Флэй отчетливо сознавал, что, едва он услышал о появлении наследника, едва эта новость всколыхнула его заскорузлую душу с такой силой, что он ощутил неоодоли-

мый зуд поделиться своим восторгом с другим человеком, – в тот же самый миг в сознании его откуда ни возьмись выскочил Ротткодд. Человек, по природе своей необщительный и к восторгам не склонный, он, сколь ни потрясло его рождение наследника, находил затруднительным сообщить эту новость Ротткодду. И однако, как уже было сказано, господин Флэй, к собственному его изумлению, не только излил перед Ротткоддом душу, но и поспешил проделать это.

Обернувшись, он увидел, что Смотритель с усталым видом стоит под Пегой Акулой, по-птичьи дергая коротко остриженной головкой и держа перед собою зажатую между распрямленными пальцами метелку. Флэй понимал, что Ротткодд вежливо ожидает его ухода. Вообще господин Флэй пребывал в состоянии странном. Его удивляло, что новость произвела на господина Ротткодда столь малое впечатление, как удивляло и то, что он сам принес сюда эту новость. Вытянув из кармана большие серебряные часы, он подержал их перед собой на плоской ладони.

– Должен идти, – натужно сказал он. – Слышите, Ротткодд? Я должен идти.

– Спасибо, что заглянули, – сказал Ротткодд. – Распишитесь по дороге в книге посетителей, ладно?

– Нет! Какой я посетитель! – Флэй задрал плечи до самых ушей. – Тридцать семь лет служу его светлости. Расписываться в *книге*, – с презрением добавил он и плюнул в угол.

– Как угодно, – сказал господин Ротткодд. – Я, собственно, имел в виду ту часть книги посетителей, которая отведена для слуг.

– Нет! – повторил Флэй.



Проходя мимо Смотрителя к двери, Флэй внимательно вглядывался в него, и вопрос снова и снова стучал в его голове. Почему? Весь замок бурлит, взволнованный новостью. Все строят догадки. За порядком никто не следит. Слухи проносятся по цитадели. Повсюду – в коридорах, проходах, галереях, трапезной, на кухнях и в спальнях – везде одно и то же. Почему же он выбрал безразличного ко всему Ротткодда? И вдруг его озарило. Должно быть, он подспудно понимал, что новость эта ни для кого уже не новость, что Ротткодд для его известья – как целина для плуга, что Смотритель, одиноко живущий среди Блистающих Изваяний, – единственный, с кем он может поделиться ею, не поступившись своим угрюмым достоинством, и для кого новость, пусть она и не пробудит в нем никакого восторга, все-таки будет новостью.

Разрешиw для себя эту проблему и испытывая некоторое отупение от банальной приземленности своих выводов, от того, что и речи не может идти о зове, посланном вдоль коридоров и лестниц его душой душе господина Ротткодда, Флэй вялым, хоть и машистым шагом миновал проходы Северного крыла и по витой каменной лестнице спустился в каменный же прямоугольник двора, а между тем странное разочарование овладевало им, мучительное

ощущение униженной гордости, а с ним и благодарность за то, что его посещение Ротткода прошло никем не замеченным, и что сам Ротткодд надежно укрыт от мира в Зале Блистающей Резьбы.

ВЕЛИКАЯ КУХНЯ

Миновав сводчатый проход, ведущий к помещениям слуг, и спустившись по двенадцати ступеням в главный кухонный коридор, Флэй окунулся в атмосферу, разительно отличавшуюся от только что им покинутой. Завязшая в его памяти уединенность святилища господина Ротткодда немедля канула в небытие. В здешних каменных коридорах наличествовали все признаки поведения непристойного. Господин Флэй поднял костлявые плечи и засунул руки в карманы куртки, выпятив их так, что лишь напряженная ткань и разделяла стиснутые кулаки. Ткань натянулась, казалось, она вот-вот лопнет у него на затылке. Безразлично глянув влево-вправо, Флэй двинулся дальше, длинные, тощие ноги его потрескивали, пока он проталкивался сквозь волнуемые скопления челядинцев. Они грубо гоготали друг другу в лица, а один, как видно, остряк, обладатель податливой, точно замазка, физиономии, корчил рожи, представлявшие никак не связанными с его черепом, если конечно череп под этой покладистой плотью присутствовал. Флэй протиснулся мимо.

Коридор кипел. Люди в передниках сбивались в стайки, которые тут же и расточались. Некоторые пели. Одни о чем-то спорили, другие, онемевшие от усталости, подпирали стены, свесив руки по бокам или тупо прихлопывая ими в такт какому-то кухонному гимну. Гвалт стоял несусветный. Строго говоря, все это более чем отвечало настроению, которое Флэй полагал желательным или во всяком случае приличествующим событию. Выказанное Ротткоддом отсутствие воодушевления поразило его, здесь же, по крайности, соблюдалась традиция, требующая проявления восторженной радости при рождении наследника Горменгаста. Однако обнаружить при посторонних собственный восторг было для Флэя невозможным. И передвигаясь по забитому людьми коридору, и минуя одно за другим темные ответвления, ведущие к бойне, из которой тянуло зловонием свежей крови, к пропахшим сладкими хлебами пекарням, к лестницам, уходящим вниз, в винные погреба и в паутину замковых подземелий, он определенно переживал удовлетворение, замечая, сколь многие из гуляк и бражников расступаются, чтобы дать ему дорогу, ибо положение главного слуги его светлости было весьма высоким, а мрачная складка губ и хмурость, свившая себе вечное гнездо на его выступающем лбу, несли в себе грозное предупреждение.

Нечасто доводилось Флэю одобрять в других показные проявления счастья. Он видел в счастье семя независимости, а в независимости – семя крамолы. Однако случаи, подобные нынешнему, это другой коленкор, ибо в них неумолимо проявлял себя дух общности и согласия, и господин Флэй ощущал, где-то между ребрами, уколы острого удовольствия.

Он дошел уже до середины коридора слуг, здесь, налево от него, зияли распахнутые настежь тяжелые деревянные двери Великой Кухни. Дальше тянулся, сужаясь в перспективе – темной, поскольку окна отсутствовали, – остаток коридора. В нем уже не было дверей ни слева, ни справа, а на дальнем своем конце он упирался в кремнистую стену. Обычно этот бесполезный тупик оставался, как то и следовало, пустым, но ныне господин Флэй заметил в нем несколько распростертых в сумраке тел. И в тот же миг его оглушил громовый рев, топот и лязг.

Господин Флэй вошел в Великую Кухню и на него сразу обрушилась волна ужасного, парного, душного жара. Он ощутил, как тело его приняло удар этой волны. Дело было не только в привычно тошнотворной кухонной атмосфере, усугубляемой бившими сквозь высоко сидящие окна лучами солнца, нет, в праздничном угаре кто-то переложил в печи топлива, разведя в них опасный огонь. Впрочем, Флэй понимал, что это *правильно*, такое место и должно быть невыносимым. Он понимал даже, что четверо жарщиков, которые тяжелыми сапогами забивали окорок за окороком в железные двери печи, покамест та не уступала их неустанному натиску, поступают в согласии с предписанным законом настроением праздне-

ства. Конечно, они не понимают, что творят и зачем, но разве это имеет значение? Графиня разродилась наследником, тут уж не до разумного поведения.

Сложенные из серых каменных плит, источавшие жаркий пар стены огромного помещения составляли предмет личной заботы восемнадцати слуг, называемых Серыми Скребунами. Особая их привилегия состояла в том, чтобы, достигнув отрочества, узнать, что поприще для них, как для сыновей своих отцов, уже назначено и впереди их ждут неотличимые жизни, посвященные исполнению не способной порадовать воображение, хоть и достойной обязанности. Последняя сводилась к тому, чтобы ежеутренне до блеска начищать необъятный серый пол и высокие стены. В каждый день года, с трех предутренних часов и почти до одиннадцати, до часа, когда их козлы и лестницы начинали мешать поварам, Серые Скребуны исполняли свое наследственное призвание. Сам характер их ремесла сообщал рукам Скребунов невероятную мощь, и когда они привольно свешивали по бокам свои колоссальные лапицы, в облике их проступало нечто большее, чем простое обезьяноподобие. При всей корявости их обликов, люди эти составляли неотъемлемую часть Великой Кухни. Не будь здесь Серых Скребунов, любой социолог, явившийся в это мглистое помещение в поисках звена, завершающего круг темпераментов, последней ноты в гамме низших человеческих ценностей, ощутил бы, что в ней не хватает чего-то очень земного, сильного, подлинного.

Повседневная близость к огромным каменным плитам, обращала и лица Скребунов в подобия этих плит. Физиономии всех восемнадцати давно лишились какого ни на есть выражения, если не считать таковым само отсутствие оно. То были просто плиты, с помощью которых Серые Скребуны говорили, что случалось нечасто, смотрели – всегда, и слушали, едва ли что-нибудь слыша. Традиция предписывала им глухоту. На плитах устроены были глаза, маленькие и плоские, точно монеты, окрашенные все в тот же булыжный цвет, как будто за долгие часы профессионального призора за стенами те наконец отразились в этих глазах – и уже неизгладимо, раз и навсегда. Да, глаза имелись – тридцать шесть глаз, к коим прилагалось по восемнадцати носов, а также ртов, походивших на расщелины плит иззубренные трещины. И хоть все, чему положено иметься на человеческом лице, присутствовало и на каждом из восемнадцати, различить на них хотя бы малейший признак оживления не удавалось еще никому, и даже если бы можно было свалить их черты в большую миску и основательно перемешать, а затем наугад выудить по одной и налепить на восковую башку какого-нибудь манекена – в какое угодно место и под каким угодно углом, – ничего бы не изменилось, ибо и самое фантастическое, самое затейливое их сочетание не смогло бы вдохнуть жизнь в сооружение, составные части которого мертвы. Взятые в совокупности, сто восемь их лицевых признаков, – причитая сюда и уши, временами чудовищно выразительные, – не смогли бы даже при самом благоприятном стечении обстоятельств набраться сил, по отдельности или *en masse*² чтобы явить и легчайшую тень намека на работу того, что крылось под ними.

Наблюдая все возраставшее в Великой Кухне волнение, Скребуны, неспособные по причине своей глухоты понять, чем оно вызвано, ухитрились тем не менее за последний час или два проникнуться праздничным духом, пронявшим кухонную челядь не только до глубины сердечной, но и до самых потрохов.

И теперь, в этот наиважнейший день, восемнадцать Серых Скребунов, осознавших наконец, что на свет явился новый Властитель, рядком лежали на каменных плитах под огромным столом, все до единого пьяные в стельку. Они почтили событие и сошли со сцены, и их по одному закатали под стол, будто восемнадцать бочонков с элем, в каковые они, собственно, и обратились.

² Вместе (*фр.*).

Сквозь наполнявший Великую Кухню гул голосов, вздымавшийся и опадавший, менявший темп и медливший, пока пронзительный порыв или хриплый накат звука не сменялся новой паузой лишь для того, чтобы ее вновь сотряс отвратительный взрев хохота, или дробный шепоток, или хрип прочищаемой глотки, – сквозь все это плотное, узорчатое плетение бедлама привычной темой скорбного усердия проступал тяжелый храп Серых Скребунов.

К чести Скребунов следует сказать, что они присосались к своим бочонкам, как присасывается к груди еще не отнятый от нее младенец, лишь после того, как благодаря их стараниям засияли полы и стены кухни. Да и не их одних перестали держать ноги. То же несомненное доказательство верноподданнических чувств являли не менее сорока членов кухонного причта, которые, подобно Серым Скребунам, отыскав в бутылке наилучшее средство для выражения преданности роду Гроанов, уже погрузились в видения и грезы.

Господин Флэй, утирая тыльной стороной клешнеобразной ладони пот, уже обильно оросивший его чело, позволил своему взгляду ненадолго задержаться на косных, укороченных перспективой телах упившихся Скребунов. Они лежали к нему головами, остриженными коротко – до серой, как орудийная сталь, щетины. Тени свили себе гнездо под столом, и прочие части Скребуновых тел, параллельно сужавшихся, быстро плотала мгла. С первого взгляда Флэю показалось, что перед ним всего лишь рядок свернувшихся ежей, прошло какое-то время, прежде чем он уяснил, что смотрит на щетинистые головы. Поняв это, он хмурым взглядом окинул Великую Кухню. Все в ней смешалось, но за бурлением движущихся тел, за временным хаосом перевернутых разделочных столов, за полом, усеянным кастрюльками для бульона, сковородками для соусов, разбитыми мисками, тарелками и обедками, господин Флэй различил коренной костяк кухни, на котором разум его утверждался, как на опоре, ибо кухня плыла перед ним в вязком тумане. Вон отделенная тяжелой каменной стеной с крепкой деревянной дверью, *garde-manger*³ со штабелями окороков, подвешенными цельными тушами и – с внутренней стороны двери – вертелами. На вделанном в пол столе, тянувшемся вдоль всей стены, стояли огромные миски, вмещавшие до полусотни порций. Суповые кастрюли вечно булькали, перекипали, и пол под ними покрывала коричневатая жижа и яичная скорлупа, бросаема в кастрюли для придания ясности бульону. Опилки, каждое утро разбрасываемые по полу, теперь были сбиты ногами в пропитанные пролитым вином бугорки. И всюду валялись по полу катыши сала, круглые и растоптанные, похожие из-за прилипших к ним опилок на фрикадельки. На потеющих стенах висели ножи забойные и шпикари, обвалочные, шкуроръемные ножи и двуручные секачи, а под ними стояла разделочная колода, двенадцать на девять футов, иссеченная вдоль и поперек, затрухлявшая от полученных за десятки лет обширных ран.

По другую сторону кухни, слева от господина Флэя, вежами ему служили великанских размеров медный котел, шедшие в ряд печи и узкий дверной проем. Печные заслонки были распахнуты, из них опасно вырывалось наружу едкое пламя, поскольку внутри смердели и пузырились бросаемые прямо в огонь ошметки сала.

Господина Флэя раздирали противоречивые чувства. То, что он видел, вызывало в нем отвращение, ибо из всех помещений замка именно кухню он ненавидел пуще всего, на что у Флэя имелась вполне основательная причина; и все-таки трепет, продиравший его приличное пугалу тело, убеждал господина Флэя в правильности всего, что здесь происходит. Он, разумеется, не мог проанализировать свои чувства, даже идея такая явиться ему не могла, и все же он слишком сросся с Горменгастом, чтобы не ощущать всем нутром, что самая суть традиций замка мощно и неуклонно изливается здесь в предназначенное ей русло.

³ Кладовая (фр.).

Однако то обстоятельство, что Флэй, принуждаемый к тому глубочайшим из побуждений, по достоинству оценивал всю вульгарность происходящего в Великой Кухне, нисколько не умеряло его презрения к людям, которых он ныне видел. Он переводил взгляд с одного человека на другого, и удовлетворение, испытанное им при виде их слитной массы, сменялось отвращением к каждому в отдельности.

Удивительная, вывихнутая какая-то, спиралью завившаяся балка плыла, или так только казалось, над простором Великой Кухни. Снизу в нее были ввинчены там и сям железные крючья. С балки свисали подобно мешкам, наполовину набитым опилками, – столь безжизненными казались они, – пара пирожников, дряхлый *poissonier*⁴, *rôtier*⁵ с ногами настолько кривыми, что они замыкались в неправильный круг, рыжий *légumier*⁶ и пятеро *sauciers*⁷ с положенными их званию зелеными шарфами на шеях. На дальнем от Флэя конце один из них еле приметно дергался, прочие же сохраняли полную неподвижность. Все они были безмерно счастливы.



Господин Флэй сделал несколько шагов, и кухонный чад сомкнулся вокруг него. У дверей он стоял незамеченным, но теперь, когда выступил вперед, какой-то пьяница вдруг взвился в воздух и вцепился в один из крюков, свисавших с темной балки над ними. Он висел на одной руке, идиот с застывшим на лице сосредоточенным бесстыдством. Должно быть, он обладал силой, непомерной для его малого роста, поскольку рука не только держала его на весу, но он умудрился еще подтянуться, достав до железного крюка головой. Пока господин Флэй проходил под ним, карлик, с немыслимой быстротой извернувшись кверху ногами, обвил ими скрученную балку и повис, так что перевернутая рожа его с нелепой ухмылкой закачалась в нескольких дюймах от лица господина Флэя, которому осталось лишь резко остановиться. Тут карла рывком забросил свое тело на балку и помчался по ней на четвереньках с проворством, приличествующим более джунглям, нежели кухне.

Громовый рев, перекрывший всю прочую какофонию, заставил господина Флэя оторвать от карлика взгляд. Слева, в тени подпирающей потолок колонны, Флэй различил того, кто все это время, с той самой минуты, как он вошел в Великую Кухню, сидел у него в мозгу подобием опухоли.

⁴ Здесь: повар по рыбной части (фр.).

⁵ Жарщик (фр.).

⁶ Повар-салатник (фр.).

⁷ Повара-соусники (фр.).

СВЕЛТЕР

Главный повар Горменгаста, кое-как взгромоздясь на винную бочку, взывал к поварятам, одетым в полосатые волглые куртки и белые шапочки. Поварята, чтобы не повалиться, обнимали друг друга за плечи. На отроческих лицах их, распаренных жаром близких печей, застыло ошалелое выражение, когда же поварята раздражались смехом или аплодировали нависавшей над ними туше, в них проступало безумное, угодливое рвение. Как только господин Флэй на несколько ярдов приблизился к ним, в пекле, сгустившемся над винной бочкой, раскатился еще один взрев, подобный тому, какой долетел до него мгновением раньше.

Юные поварята и прежде не раз слышали этот рев, но никогда не связывали его с чем бы то ни было, кроме гнева. И оттого в первый миг он поварят напугал, но мало-помалу они уяснили, что нынче в нем отсутствуют раздраженные ноты.

Главный повар громоздился над ними – хмельной, надменный, педантичный и страшно довольный собой.

Поварята, сгрудившись вокруг бочки, пьяно покачивались, лица их ловили и отпускали свет, лившийся сквозь пробитое под потолком окно, – они тоже, хоть и на помутненный лад, были собою довольны. Многократное эхо беспричинного, судя по всему, вопля главного повара стихло, и все, кто стоял у бочки неровным кружком, яро затопали ногами и восторженно завизжали, ибо увидели, как размытый сумрак, окутавший огромную, парящую над ними голову, сгущается в бессмысленную улыбку. Никогда еще не позволялось им так вольничать в присутствии их повелителя, и теперь они норовили превзойти один другого в проявлениях фамильярности, доселе неслыханной. Они наперебой старались завоевать благосклонность главного повара, изо всех сил выкликая его имя. Они норовили поймать его взгляд. Все они очень устали, всех тяжко мутило от выпитого и от жары, но неистовая жизнь еще бушевала в них, питаясь запасами замутненной винопийством нервной энергии. Во всех, кроме одного юноши с высоко поднятыми плечьями, хранившего на протяжении всей этой сцены угрюмое молчание. Он ненавидел возвышавшуюся над ним фигуру и презирал своих собратьев-поварят. Он стоял, прислонясь к утопавшему в тени боку колонны, укрывшей его от глаз главного повара.

Даже в такой день сцена эта привела господина Флэя в раздражение. Хотя теоретически он все это одобрял, на практике подобный спектакль оказался ему неприятен. Господин Флэй помнил, что с первой же встречи со Свелтером он и повар мгновенно прониклись друг к другу неприязнью, которая в дальнейшем лишь растравлялась все пуще. Свелтера раздражало даже присутствие в его кухне костлявой, разболтанной фигуры личного слуги графа Сепулькревия, и единственным, что отчасти умеряло раздражение, была возможность поупражняться на счет господина Флэя в остроумии, коим Свелтер его превосходил.

Господин же Флэй заявлялся в чадные владения Свелтера только с одной целью. Доказать себе и другим, что его, человека, приближенного к лорду Гроану, никому из челяди устроить не удастся.

Держа этот непреложный факт перед своим умственным взором, он время от времени обходил помещения слуг, никогда, впрочем, не вступая в кухню без тошного ощущения под ложечкой и никогда не покидая ее без обновленной хандры.

Длинные солнечные лучи, отражаясь в мерцающей мути от мокрых стен, покрыли тело главного повара пятнами призрачного света. Снизу он представлялся крапчатым сгущением теплой, смутной, смешанной с серостью белизны, тонущим в трясине ночного мрака, – тушей, возносящейся и исчезающей между стропил. Время от времени Свелтер прислонялся плечом к каменной колонне пообок, и латки света сплывали по выродившейся белизне его туго натянутой форменной куртки. В миг, когда господин Флэй заметил повара, лицо одного

полностью укрывала тень. Над нею стройно парил форменный белый колпак, туманный топсель, теряющийся в разодранных небесах. В целом, повар и впрямь чем-то напоминал галеон.

Одно из пятен отраженного солнечного блеска блуждало туда-сюда по его брюху. Эта лужица света, словно загипнотизированная, перемещалась взад-вперед, временами выхватывая из темноты длинный красный остров винного пятна. Остров, когда на него падал свет, казалось, отрывался от нечистого одеяния повара, разрушая общий строй светотени и отрицая законы сочетания тонов. В этом украсившем вздутый холст, незатейливом свидетельстве разгула, которому преданся Свелтер, присутствовало, к удивлению господина Флэя, нечто завораживающее. С минуту Флэй смотрел, как оно появляется, исчезает и появляется снова – багряный ромб на раскачивающемся теле.



Еще один бессмысленный взрыв топота и визга рассеял эти чары, и Флэй, оглядевшись, скривился. На какой-то миг воспоминание о господине Ротткоде в его пыльном пустынном зале прокралось в сознание Флэя, и он потрясенно понял, насколько в сущности милее – в сравнении с этим адом освященного веками дебоша – была ему вялая и по видимости нелояльная самососредоточенность Смотрителя. Он протолкался к месту, с которого можно было охватить взглядом всю картину разом, откуда он мог видеть все, сам оставаясь невидимым, и тут обнаружил, что Свелтер, попрочнее утвердясь на ногах, помахивает огромной мягкой рукой, требуя, чтобы сгрудившиеся под ним отроки умолкли. Флэй заметил, что привычная резкость повадки и тона Свелтера сменилась сегодня чем-то сдобным, пропитанным по случаю пиршества свинцовой приторностью, пугающей задушевностью, еще более страшной, чем самые грозные припадки его гнева. Голос Свелтера падал из теней гигантскими комьями звуков, или вернее, теплыми тошными нотами некоего чудовищного, заплесневелого, сваленного из войлока колокола.

Мягкая рука смирила бурление поварят, толстый голос Свелтера поплыл, отделяясь от его лица.

– Желщные камушки! – Он так широко развел в сумраке руки, что с тужурки поотлетали пуговицы, и одна из них, со свистом прорезав зал, оглушила таракана на противоположной стене. – Шомкните ряды, шомкните ряды и шлушайте шо вшею внимательноштью. Приблизься же, мелкое море лиц, ближе ко мне, мои меленькие.

Поварята качнулись вперед, пихаясь, давая друг другу ноги. Стоявших впереди притиснуло к винной бочке.

– Вот так. Вот именно так, – сказал, ослабившись, Свелтер. – Вот теперь мы одна маленькая, радостная шемья. Шамая што ни на ешь отборная и ражвитая.

Он сунул жирную руку в прорезь должностной тужурки и вытянул из бокового кармана бутылку. Выдрав пробку губами, обхватившими ее с жутковатой мускульной силой, Свелтер влил себе в глотку полпинты, – не вынимая пробки из губ, ибо он приложил к горлышку палец, разделивший вино на две струи, которые, лихо омыв изнутри его щеки, соединились в глубинах глотки и с тусклым журчаньем ниспали в несказанные пропасти, лежавшие ниже.

Поварята в восторге и обожании затопали и завыли, щипля и терзая друг дружку.

Главный повар вынул пробку из губ, повертел ее в пальцах и, удостоверясь, что она осталась идеально сухой, закупорил бутылку и вернул ее сквозь ту же прорезь в карман.

Снова он поднял ладонь и снова воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь тяжким, возбужденным дыханием.

– Теперь скажите мне, мои вонючие херувимшики. Скажите и скажите как можно быстрее – кто я ешь? Скажите как можно быстрее.

– Свелтер, – завопили они, – Свелтер, господин! Свелтер!

– И это *вще*, што вы жнаете? – пал сверху голос. – И это *вще*, што ты жнаешь, маленькое море лиц? Тогда молщать! И шлушать меня полутче. Меня, главного повара Горменгашта, мужем и малычиком, шорок лет, в щистоте и щаде, в дождь или в шнег, в пыли и опилках, бараны и лани и прочие, и *вще* они жарятся в меру и поливаютца алоэвым шоушом с щютошкой оштрого перчика.

– С чуточкой острого перчика, – взвыли поварята, пихая друг друга локтями. – Можно мы сготовим его, господин? Прямо сейчас, господин, и плюхнем в медный котел, господин, и размешаем. Ох! какая вкуснятина, господин, какая вкуснятина!

– Молщать! – рявкнул главный повар. – Молщать, мои шветлые малычики. Молщать, рыгающие ангелятки. Приблизьтещ, приблизьтещ ш вашими наметанными лищиками, и я скажу вам, кто я ешь.

Не разделявший всеобщего возбуждения юноша со вздернутыми плечами, вытащил кургузую трубку узловатого, червями источенного дерева и неторопливо набил ее. Рот его был напрочь лишен выражения, губы не изгибались ни кверху, ни книзу, глаза же темнели и тлели от зрелой ненависти. Они оставались полуприкрытыми, но то, что им хотелось сказать, клубилось за ресницами, пока он вглядывался в человека, опасно кренившегося на винной бочке.

– Шлушайте хорошо, – продолжал голос, – и я скажу вам кто я, а пошле шпою пешню и вы будете жнать, кто вам поет, мои гадкие бешмышленные филейщики.

– Песню! песню! – вступил визгливый хор.

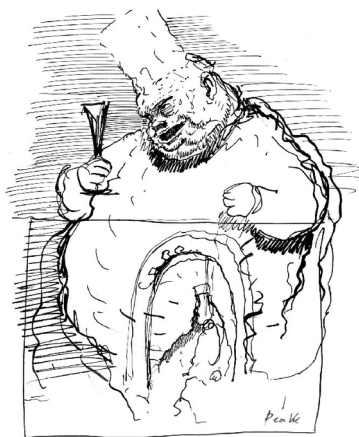
– Во-первых, – объявил повар, наклонясь и роня каждое задушевное слово, будто облитое сиропом пушечное ядро. – Во-первых, я никто иной как Абиата Швелтер, а это жнашит, ибо то вам не ведомо, што я ешь щимвол доштатка и превошходштва. Я *отец* доштатка и превошходштва. Так кто я такой?

– Абафа Свелтер, – ответил общий вопль.

– Абиата, – медленно повторил он, напирая на срединное «а». – Абиата. Какое имя я вам нажвал?

– Абиата, – ответил повторный вопль.

– Вот и правильно, и верно, Абиата. Вы шлушаете, мои хорошенькие паражиты, вы шлушаете?



Поварята уверили его, что слушают очень внимательно.

Прежде чем продолжить, главный повар еще раз приложился к бутылке. На сей раз он стиснул горлышко зубами и, откинув голову так далеко, что бутылка стала торчком, осушил ее и выплюнул, отправив в полет над зачарованной толпой.

Звук, с которым черное стекло вдребезги разбилось о каменные плиты, потонул в одобрительных кликах.

– Еда, – объявил Свелтер, – божественна, а выпивка нежит душу, и вместе они шутят цветочки, а ягодки – гажы в брюхе. Такие гажовые цветочки. Подойдите поближе, *подкрадитец* поближе, и я вам шпою. Шладщайшее щердце мое вожнещется к штропилам и пропоет вам пешню. Штарую пешню великой пешяли, шамую шлежную пешню на швете. Подойдите поближе.

Еще ближе притиснуться к шефу поварята никак не могли, но они усердствовали, толкаясь, вопя, требуя песню, запрокидывая вверх потные лица.

– О, што за прелешная груда маленьких тушек, – вымолвил Свелтер, озирая их и вытирая ладони о толстые бока – вверх-вниз. – Тушек, из коих вытоплен лишний жир. Да, таковы вы и ешть, только щють-щють недожаренные. Шлушайте, петушки, я жаштавлю ваших бабушек шладко жаержать в могилах. Мы жаштавим их жаержать, мои дорогие, жаштавим – вот так новошть для них и для глодающих их щервей. Где тут Штирпайк?

– Стирпайк! Стирпайк! – взревели юнцы. Стоявшие впереди приподнимались на цыпочки и вертели головами, стоявшие в задних рядах вытягивали шеи вперед и озирались вокруг. – Стирпайк! Стирпайк! Он где-то здесь, господин! Здесь он, здесь! Да вон он, господин! За той колонной, господин!

– Молщять! – рявкнул повар, поворачивая тыквовидную голову в направлении, указанном множеством рук, меж тем как юношу с задранными плечами уже вытолкнули вперед.

– Вот он, господин! Вот он!

Юный Стирпайк, застывший у подножья монструозного монумента, казался неправдоподобно маленьким.

– Я шпою для *тебя*, Штирпайк, для *тебя*, – прошептал повар и, покачнувшись, ухватился рукой за каменную, лоснившуюся от жаркой росы колонну, по канелюрам которой стекали струйки влаги. – Для тебя, новищек, унылый шептун и летний шлижняк, – для тебя, отвратный, лукавый, пугающе глупый кожлик в доме шмрада.

Поварята радостно заколыхались.

– Для тебя, для *тебя одного*, мой шгуштошек кошащей желщи. Для тебя одного, так внемли же моим поушениям. Ты внемлешь? Вщем ли шлышно? Ибо это ему пошвящаетця пешнь. Моя штолетней давношти пешня, жалобная, шамая грушная пешня.

Свелтер, казалось, тут же забыл, что собирался петь, и вытерев потные руки о голову ближнего юноши, снова воззрился на Стирпайка.

– Но почему тебе, мой лущик протухшего шолнца? Почему тебе одному? Можешь быть уверен, мой милый маленький Штирпайк, – можешь быть совершенно уверен, што ты, шождание, нигцтожнейшее крови шлепня, вецьма удален от вшего, школько-нибудь при-ближенного к природе – однако, шкажи мне, а лутче не говори, жащем твои уши, преднажна-щенные ижнащяльно для уловления мух, по какой-такой прищине, тебе ведомой лутче, нежели вшем оштальным, раштопырилищ штоль неприштойно? Што ты еще вожнамерился учинить, плавая в этом прокишлом теште? Ты бродишь вжад-вперед на швоих ништожных ножках. Я видел, как ты это делаешь. Ты наполняешь швоим дыханием вщю мою кухню. Ты ожираешь ее швоими наглыми швиншкими глажками. И это я тоже видел. Я видел, как ты глядишь на меня. Ты и тепер глядишь на меня. Штирпайк, нетерпеливый мой неражлуш-ник, што это вще ожнащает и почему я должен петь для тебя?

Отклонившись назад, Свелтер, похоже, на миг задумался над этим вопросом, отирая лоб рукавом. Впрочем, ответа он не ждал, он лишь откачнул в стороны две руки, как два маятника, так, что где-то на нем затрещала рвущаяся ткань.

Стирпайк пьян не был. Стоя у ног господина Свелтера, он не испытывал ничего, кроме презрения к человеку, который только вчера ударил его по голове. Но и сделать он ничего не мог, лишь стоять, где стоял, ощущая тычки и щипки Свелтеровых прихлебателей, и ждать.

Сверху снова полился голос.

– Эта пешня, о мой Штирпайк, обращена к воображаемому монштру, шовшем такому, каким штал бы ты, будь ты вдвое больше и еще гнушнее. Это пешня для жештокощердого монштра, так што шлушай ее внимательно, мой маленький гнойнищок. Ближе, ближе! Што ж вы, не можете подтянутыця поближе, штобы ушлышать щей погребальный шедевр?

Выпитое, добравшись до головы главного повара, удвоило свои подрывные усилия. Теперь он криво обвисал, привалясь всем телом к потливой колонне.

Глаза Стирпайка глядели на него из-под высокого костлявого лба. Глаза повара выпирали наружу, как налитые кровью пузыри. Одна рука свисала, точно у мертвеца, вдоль желобчатой опоры. Огромное лицо набрякло, расплылось. Оно блестело, как студень.

В лице образовалась дыра, из которой вновь поплыл голос, ставший вдруг слабее и тише.

– Я Швелтер, – повторил голос, – великий шеф Абиата Швелтер, повар его шветлошти, я вщегда на пошту, на борту вщех кораблей, што плывут по школьжким волнам, мужем и мальщиком, и девочки в лентах, и куця кухонь, шорок лет в жару и в штужу, плати только денежки, а я тут, толстый и волошатый волшебник! Великий пещенник и шкажитель! Шлу-шайте вще, шлушайте лутче!

Свелтер, не поведя плечьми, свесил голову на залитую вином грудь, пытаясь понять, готовы ли его слушатели вникнуть в начальные ноты. Однако ему удалось разглядеть лишь «мелкое море лиц», к которому он взывал, да и это море почти беспросветно скрывал теку-чий туман.

– Шлушаете?

– Да, да! Песню, песню!

Свелтер свесил голову еще ниже, совсем приблизил ее к мерцающей водной пыли, и слабо воздел правую руку. Он неуверенно попытался отлепиться от колонны, принять более вну-шительную позу, достойную строк, которым вот-вот предстояло излиться, но сил, чтобы разогнуться, ему уже не хватало, понизу его лица расплзлась гигантская, бессмысленная улыбка, и господин Флэй, чей тонкий и жесткий рот подергивался, изгибаясь книзу, увидел, как повар понемногу обваливается вовнутрь себя самого, словно сворачиваясь в предвкуше-нии неминуемой смерти. В кухне стало тихо, как в жаркой могиле. Несколько погода безмол-

вие оживилось слабыми булькающими звуками, но были ль то первые строки долгожданных стихов, сказать никто бы не взялся, ибо повар, как галеон, достиг, наконец, долгожданной гавани. Огромные паруса обвисли, затем в трюмы устремилась вода и колоссальный корабль пошел на дно. Раздался звук, словно нечто расплющилось, и пространство в семь каменных плит скрылось из виду под раскисшей массой пропитанной вином медузы.

КАМЕННЫЕ ПРОУЛКИ

Тошнота медленно, но верно подступала к горлу господина Флэя, и пока тянулись эти жуткие минуты, он наливался отвращением столь всеобъемлющим, что, не окружай главного повара его молодцы, Флэй, пожалуй, набросился бы на пьянчугу. На деле же он лишь оскалил песочного цвета зубы и в последний раз пронзил повара взглядом, полным несказанной угрозы. Затем отвернулся, сплюнул и, распахивая тех, кто преграждал ему путь, огромными, как у скелета, шагами устремился к узкому дверному проему в стене, расположенному напротив того, сквозь который он вошел в кухню. Ко времени, когда Свелтеров монолог довололся, наконец, до хмельного его завершения, господин Флэй уже был снаружи и каждый шаг уносил его на новых пять футов от смрада и мрака Великой Кухни.

Черное одеяние Флэя, залатанное на локтях и близ ворота сальной, цвета сепии, тканью, сидело на нем дурно, но было такой же неизменной его принадлежностью, как голова черепахи, глядящая из-под панциря, или голова грифа, торчащая из каменного мусора перьев, суть неизменные принадлежности этой рептилии и этой птицы. Костлявая, пергаментного цвета голова Флэя искони сроднилась с упомянутым сальным тряпьем. Она торчала из чердачного окошка этого высокого черного сооружения так, словно никогда и не знала иного жилья.

Пока господин Флэй шагал коридорами в ту часть замка, где впервые за много недель был им оставлен лорд Сепулькревий, Смотритель мирно похрапывал под реечной шторой в Зале Блισταющей Резьбы. Гамак, приведенный в движение господином Ротткоддом, который залег в него, едва заперев за Флэем дверь, еще покачивался, почти неприметно. Солнце палило сквозь щелки штор, золотистыми лентами обвивая пьедестал одной из скульптур, покрывая тигровыми полосами пыльные доски полов.



Пока господин Флэй совершал свой путь, солнечный свет все также просовывал единственный пальчик и в кухонное окно, освещая потную каменную колонну, коей не было больше нужды подпирать главного повара, ибо упившийся Свелтер сверзился с винной бочки через миг после ухода Флэя и ныне лежал, раскинувшись, у подножья своей трибуны.

Вокруг него валялись по полу раздавленные, обваленные в опилках комки мяса. Резко воняло горящим жиром, но кроме распростертой туши главного повара, Серых Скребунов под столом да еще одного персонажа, так и свисавшего с потолочной балки, в огромной, жаркой, пустой кухне не осталось уже никого. Каждый мужчина и мальчик, еще владевший своими ногами, удалился на поиски места попрохладней.

Стирпайк наблюдал театральное завершение разглагольствований господина Свелтера со смесью изумления, облегчения и злорадного удовольствия. Миг-другой он простоял, глядя сверху вниз на заляпанное вином тулово своего повелителя, затем, оглядевшись и

обнаружив, что остался один, метнулся к двери, в которую вышел Флэй, и скоро уже неся по коридорам, сворачивая то налево, то направо в безумном стремлении выбраться на чистый воздух.

Он никогда прежде не проходил в эту дверь, но полагал, что быстро отыщет путь, который приведет его под открытое небо, куда-нибудь, где он сможет побыть один. Заворачивая то туда, то сюда, он вскоре понял, что заблудился в лабиринте каменных коридоров, освещаемых кое-где свечью, утопавшими посреди стенных ниш в собственном сале. На бегу юноша в отчаянии схватился за голову и тут – он как раз обогнул скругление стены – впереди быстро прошествовал поперечным проходом некто, не глядевший ни вправо, ни влево.

Едва господин Флэй – ибо это был направлявшийся к жилым покоям слуга его светлости, – едва только он скрылся из виду, Стирпайк выглянул из-за угла и пошел следом, стараясь по возможности шагать с Флэем в ногу, чтобы сделать свои шаги неслышными. Задача была почти нерешаемая, поскольку паучья поступь Флэя, отличаясь редкой размашистостью, включала в себя, подобно церемониальному шагу, еще и небольшую задержку перед окончательным ударом ступни об пол. Тем не менее юный Стирпайк, понимая, что как бы там ни было, а это единственный его шанс вырваться из бесконечных коридоров, старался, как мог, не отставать от господина Флэя в надежде, что тот со временем свернет в какой-нибудь осененный прохладой дворик или выйдет на открытое место, откуда можно будет удрать. По временам, там, где свечи отстояли одна от другой футов на тридцать-сорок, господин Флэй терялся из виду и только буханье ног о каменные плиты направляло преследователя. Затем, постепенно, по мере того как колеблющиеся очертания его сближались со следующим оплывающим ореолом, Флэй обретал силуэт, а перед самой свечой претворялся на миг в черное пугало, в богомола, скроенного из черных как смоль, соединенных веревкой кусков картона. Затем приближавшийся свет начинал отступать и на миг, следовавший за минованием пламени, Стирпайк видел Флэя совершенно отчетливо – освещенной фигурой на глубоком фоне каменных улиц, по которым им еще предстояло пройти. В этот миг свет озарял сальную, истертую ткань, покрывавшую плечи Флэя, и сдвоенные вертикальные мышцы шеи его резко и голо выступали над лохмотьями ворота. А он все шагал, и свет тускнел на его спине, и Стирпайк терял его и слышал лишь хруст в коленных чашках и удары ступней о камень, покамест следующая свеча заново не вырезала Флэя из тьмы. Почти совершенно измотанный – поначалу невыносимой атмосферой Великой Кухни, а теперь этим по видимости бесконечным походом, юноша, – ему было от силы семнадцать, – внезапно свалился от усталости, гулко ударившись о камни, по которым еще немного проволоклись его башмаки. Звук удара заставил Флэя затормозить и медленно обернуться, одновременно подтягивая плечи к самым ушам.

– Кто там? – каркнул он, вглядываясь в тьму, из которой пришел.

Ответа не последовало. Господин Флэй, вытянув шею и сузив глаза, двинулся назад. По пути он вступил в свет одной из настенных свечей. Он приблизился к ней, не отрывая маленьких глаз от уже пройденной тьмы, выломал из стены свечу вместе со служащим ей подпоркой древним наплывом свечного сала и с ее помощью вскоре добрался до юноши, лежавшего посреди коридора несколькими ярдами дальше.

Согнувшись, Флэй опустил ком светящегося свечного сала поближе к лежащему ниц Стирпайку и вгляделся в неподвижную грудку рук и ног. Звук его шагов и треск коленных суставов делали безмолвие этого места абсолютным. Прикрыв оскаленные зубы, Флэй слегка распрямился. Затем ногой перевернул юношу. Это пробудило Стирпайка от обморока, он приподнялся, опираясь на локоть.

– Где я? – шепотом спросил он. – Где я?

«Один из Свелтеровых крысят, – сказал себе господин Флэй, не обращая внимания на вопрос. – Из Свелтеровых, э? Один из его полосатых крысят».

– Вставай, – произнес он вслух. – Что ты здесь делаешь?

И он поднес свечу к самому лицу юноши.

– Я не знаю, где я, – ответил Стирпайк. – Я заблудился. Заблудился. Мне нужен дневной свет.

– Что ты здесь делаешь, я спрашиваю... что ты *делаешь* здесь? – сказал Флэй. – Мне тут Свелтеровы сопляки не нужны. Чтоб им пусто было!

– Да я и не стремился сюда. Покажите мне где дневной свет, и я уйду. Далеко-далеко.

– Далеко? Куда?

Способность соображать уже вернулась к Стирпайку, хотя он еще ощущал духоту и отчаянную усталость. Он заметил глумливость в голосе Флэя, когда тот сказал: «Мне тут Свелтеровы сопляки не нужны», – и потому на вопрос: «Далеко? Куда?» – ответил быстро:



– Куда угодно, лишь бы подальше от кошмарного господина Свелтера.

С секунду Флэй вглядывался в него, открывая рот, дабы что-то сказать, и закрывая снова.

– Новенький, – без выражения произнес он наконец, глядя сквозь Стирпайка.

– Я? – спросил юноша.

– Ты, – сказал Флэй, продолжая глядеть на что-то, лежащее за лбом Стирпайка.

– Мне семнадцать, господин, – сказал Стирпайк, – но на кухне я новичок.

– Когда? – спросил Флэй, предпочитавший отбрасывать большую часть всякого предложения.

Стирпайк, который, видимо, обладал способностью понимать такого рода стенографические речи, ответил:

– Прошлый месяц. Я хочу уйти от кошмарного Свелтера, – прибавил он, разыгрывая единственно возможную карту, и взглянул на свечу, горевшую впереди.

– Заблудился, значит? – сказал Флэй, помолчав. Тон его стал несколько менее сумрачным. – Заблудился в Каменных Проулках, так? Один из Свелтеровых крысят заблудился в Каменных Проулках, э?

И господин Флэй снова втянул голову в костлявые плечи.

– Свелтер свалился, бревно бревном, – сказал Стирпайк.

– И правильно, – сказал Флэй. – Почтил. А что сделал *ты*?

– Сделал, господин? – сказал Стирпайк. – Когда?

– А Счастье? – спросил Флэй, постепенно приобретающий сходство с черепом. Свеча гасла. – Счастья много?

– Какое у меня счастье! – сказал Стирпайк.

– Что! нет Великого Счастья? Бунт. Это бунт?

– Нет, разве что против Свелтера.

– Свелтер! Свелтер! Оставь это имя в его жиру и сале. И не произноси его больше в Каменных Проулках. Свелтер, вечно Свелтер! Придержи язык. Возьми свечу. Иди вперед. Поставь в нишу. Бунтовать? Вперед, налево, налево, направо, бери левее, теперь направо... я тебе покажу, как не быть счастливым, когда рождается Гроан... шагай... прямо...

Юный Стирпайк подчинялся этим приказам, долетавшим из сумрака за его спиной.

– Родился Гроан, – произнес Стирпайк с интонацией, которую можно было принять и за вопросительную, и за утвердительную.

– Родился, – сказал Флэй. – А ты нюнишь в проулках. Иди со мной, Свелтеров сопляк. Покажу тебе, что это значит. Гроан, мужчина. Новенький, э? Семнадцать? Тьфу! Никогда не понимал. Никогда. Поверни направо, таперь налево – еще раз... вон к той арке. Тьфу! Новый мальчишка под старым камнем, да еще и из Свелтеровых... не любишь его, э?

– Нет, господин.

– Угу, – сказал Флэй. – Жди здесь.

Стирпайк остался ждать, как ему было велено, а господин Флэй, вытянув из кармана связку ключей, выбрал один с таким тщанием, точно держал в руках небывалую редкость, и вставил ключ в замок незримой, ибо тьма тут стояла непроглядная, двери. Стирпайк услышал, как скрежещет металл замка.

– Эй! – окликнул из темноты Флэй. – Где ты, Свелтеров сопляк? Иди сюда.

Стирпайк шагнул на голос, ошупывая руками стену низкой арки. Внезапно он ощутил близость дохнувшей сыростью одежды господина Флэя и, протянув руку, ухватился за подол длинной куртки слуги лорда Гроана. Флэй отбил руку юноши ударом своей костлявой длани, и в горле этого долговязого существа что-то резко защелкало: «тцк, тцк, тцк» – предостерегая Стирпайка от дальнейших покушений на интимность.

– Котовое место, – сказал Флэй, берясь за железную ручку двери.

– О, – отозвался Стирпайк, лихорадочно размышляя, и повторил, чтобы протянуть время: «Котовое место», – смысл этого высказывания оставался решительно ему непонятным. Только одно и пришло Стирпайку в голову – что Флэй *его* обозвал котом и велел знать свое место. Хотя с другой стороны, раздражения в голосе Флэя не слышалось.

– Котовое место, – задумчиво повторил Флэй и повернул железный шишак. Медленно отворил он дверь и Стирпайку, выглянувшему из-за его спины, никаких объяснений более не потребовалось.

Позднее солнце заливало комнату. Стирпайк стоял, замерев, чувствуя, как по всему его телу разливается, покалывая иголочками, наслаждение. Он улыбался. Ковер обратил полы комнаты в подобие лазурного луга. На нем в сотнях картинных поз сидели, стояли, недвижные, как изваяния, или, сплетаясь в подвижную арабеску, величаво прогуливались по сапфировой почве бесчисленные, снежно-белые коты.

Господин Флэй вышел на середину комнаты, и Стирпайк невольно отметил контраст между темной, раздерганной фигурой Флэя с ее нескладными движениями и монотонным хрустом в коленях – контраст между нею и величавым изяществом и безмолвием белых котов. Они никакого внимания не обратили ни на него, ни на Флэя, разве лишь перестали мурлыкать. Еще там, во мраке, перед тем как Флэй вытащил из кармана ключи, Стирпайку почудилось, будто он слышит тяжкий, глубокий рокот, ровный звук, похожий на гул морских валов, – теперь он понял: то был звук, порождаемый этим народцем.

Когда они прошли под резной аркой на другом конце комнаты и закрыли за собою дверь, он снова услышал горловое урчание, ибо стоило белым котам остаться в одиночестве, как оно возродилось – глубокое, неспешное мурлыканье, подобное голосу океана в гулкой горловине раковины.

«ГЛАЗОК»

– Чьи они? – спросил Стирпайк. Он поднимался с Флэем по каменной лестнице. Стену справа от них покрывали отвратительные обои, ободранные, обнажающие разлагавшуюся штукатурку. Исподнюю эту поверхность оживляло смешение множества диковатых цветов, пятна которых обладали подводной, невиданной красотой. В месте посуше, где огромный бумажный парус свисал со стены, штукатурка растрескалась, покрывшись сложной сетью бороздок, разных по глубине, похожих на вид, открывающийся птичьему взору, или на карту некоей сказочной дельты. Тысячу воображаемых путешествий можно было бы совершить вдоль берегов этих рек, принадлежащих неисследованному миру.

Стирпайк повторил вопрос:

– Чьи они? – спросил он.

– Чьи кто? – сказал Флэй, застывая на лестнице и оборачиваясь. – Ты здесь еще? Так и идешь за мной?

– Вы сами велели, – сказал Стирпайк.

– Чш! Чш! – сказал Флэй, – чего тебе, Свелтеров сопляк?

– Тошнотворный Свелтер, – сквозь зубы сказал Стирпайк, краем глаза наблюдая за господином Флэем, – омерзительный Свелтер.

Повисло молчание, Стирпайк пощелкивал по железным перилам ногтем большого пальца.

– Имя? – сказал господин Флэй.

– Мое? – спросил Стирпайк.

– Твое имя, да, твое. *Мое* мне известно. – Господин Флэй опустил на перила узловатую длань, готовясь продолжить восхождение по лестнице, но ждал, хмуро глядя через плечо, ответа.

– Стирпайк, господин, – сказал юноша.

– Стервайк, э? э? – сказал Флэй.

– Нет, Стирпайк.

– Как?

– Стирпайк. Стирпайк.

– Зачем? – сказал Флэй.

– Прошу прощения?

– Зачем, э? Два Сдергайка, два у тебя. Вдвое больше. Зачем? Свелтерову сопляку хватило б и одного.

Юноша чувствовал, что прояснять связанную с его именем проблему – занятие пустое. Несколько мгновений он вглядывался в нависшую над ним неказистую фигуру, потом еле приметно пожал плечами. И заговорил снова, ничем не выказав раздражения.

– Чьи это были коты, господин? Можно ли мне спросить?

– Коты? – сказал Флэй, – кто сказал «коты»?

– Белые коты, – уточнил Стирпайк. – Белые коты в Котовой Комнате. Кому они принадлежат?

Господин Флэй поднял кверху палец.

– Моей госпоже, – сказал он. Жесткий голос его казался частью холодной, узкой лестницы, сработанной из камня и железа. – Принадлежат моей госпоже. Белые коты ее светлости, вот они кто, Свелтеров сопляк. Все ее.

Стирпайк наострил уши.

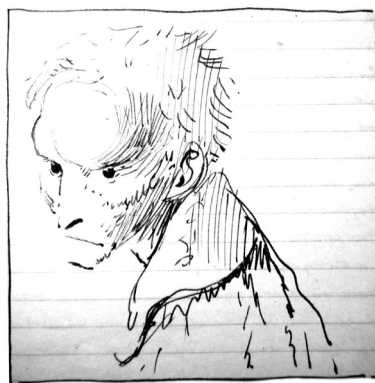
– А где ее покои? – спросил он. – Неподалеку?

Вместо ответа Флэй выстрелил головой из воротника и прокаркал:

– Нишкни! Кухонное отродье. Придержи язык, сальная ты вилка. Слишком много болтаешь. – И он, раскорячась, попер по лестнице вверх и миновал две площадки, а на третьей резко свернул налево и вошел в восьмиугольную комнату, где на него с семи стен из восьми уставились забранные в громадные, пыльные, золоченые рамы, в полный рост написанные портреты. Стирпайк последовал за ним.

Господин Флэй отлучился от его светлости на срок, больший, чем намеревался или считал правильным, и теперь полагал, что Граф, возможно, нуждается в нем. Едва войдя в восьмиугольную комнату, он направился к одному из портретов на дальней ее стене и слегка отодвинул его в сторону, отчего в деревянной обшивке стены обнаружилось круглое отверстие величиною в грош. Флэй приник к этому отверстию глазом, и Стирпайк увидел, как под выпиравшей в основании его черепа костью собралась морщинами пергаментная кожа, ибо господину Флэю пришлось, дабы разместить глаз под нужным углом, одновременно и согнуться, и задрать голову. Увидел же господин Флэй то, что увидеть и ожидал.

Избранный им наблюдательный пункт позволял хорошо разглядеть три выходящие в коридор двери, средняя из которых вела в спальню ее светлости, семьдесят шестой графини Гроанской. По черной краске этой двери был написан огромный белый кот. Стену же лестничной площадки покрывали картины, изображавшие птиц, да еще висели на ней три граюры: кактусы в цвету. Дверь была закрыта, зато пока Флэй смотрел в глазок, две другие двери то и дело распахивались и затворялись, и люди быстро входили в них и выходили, или пробегали по лестнице вверх и вниз, или беседовали, шибко маша руками, или стояли, подпирая ладонями подбородки, словно в раздумье.



– Здесь, – не поворачиваясь, сказал Флэй.

Стирпайк немедля оказался у его локтя.

– Да? – спросил он.

– Кошачья дверь, ее, – сказал Флэй, распрямляясь, и затем развел в стороны руки, растопырил длинные пальцы и с пещерным звуком зевнул.

Стирпайк прилип глазом к отверстию, подперев плечом тяжелую золотую раму, чтобы та не сползла на место. Взгляд его первым делом уперся в узкогрудого человека с копною седых волос и в очках, которые увеличивали глаза настолько, что те заполняли стекла до самых золотых ободков, – но тут отворилась срединная дверь и из-за нее скользнула, тихо закрыв дверь за собой, темная фигура с лицом, выражающим глубочайшее уныние. Стирпайк увидел, как эта особа обратила взгляд к человеку с копною волос, как тот поклонился, сжав перед собою ладони. Новое лицо, не обратив на это внимания, стало расхаживать взад-вперед по площадке лестницы, темный плащ с капюшоном, удерживаемый на плечах пряжкой, волочился по полу за его каблуками. Всякий раз, как человек этот проходил мимо Доктора, ибо то был Доктор, последний кланялся, но, как и прежде, ответа не получал, пока

новопришедший не остановился вдруг прямо перед придворным врачом и не вытащил из капюшона тонкий серебряный жезл с насаженным на него грубой формы черным нефритовым шаром, горящим по ободу изумрудным огнем. Этим странным оружием скорбная фигура печально постукала Доктора по груди, как бы желая выяснить, есть ли кто дома. Доктор кашлянул. Серебряное с нефритом орудие указывало теперь в пол, и Стирпайк с изумлением увидел, как Доктор, подтянув замечательно отглаженные брюки на несколько дюймов выше лодыжек, опустился на корточки. Огромные глаза его плыли под сильными стеклами, точно пара медуз, видимая в морской глубине. Седые волосы спадали на глаза, прикрывая их как бы соломенной кровлей. При всей приниженности его позы в ней ощущалось изрядное чувство стиля. Сидя на корточках, Доктор провожал глазами господина, который теперь ходил вокруг него кругами. В конце концов, человек с серебряным жезлом остановился.

– Прюнскваллор, – сказал он.

– Мой господин? – отозвался Доктор, склоня седую копну влево.

– Удовлетворительно, Прюнскваллор?

Доктор свел вместе кончики пальцев.

– Я чрезвычайно доволен, мой господин. Чрезвычайно. Да, вот именно. В очень, очень высокой степени, ха-ха-ха. В очень высокой.

– Вы, полагаю, хотите сказать – в профессиональном смысле? – спросил лорд Сепулькревий, ибо Стирпайк начал с изумлением понимать, что трагического обличил человек есть никто иной как семьдесят шестой граф Гроанский, властитель всей этой, как выразился про себя Стирпайк, кучи-малы – кирпичей, пушек и славы.

«В профессиональном?.. – сам у себя осведомился Доктор, – ...что он имеет в виду?» Вслух же он произнес:

– В профессиональном смысле, мой господин, я удовлетворен несказанно, ха-ха-ха-ха, а в социальном, если говорить, э-э, так сказать, о жесте, я преисполнен свехблагословения. Я горд, мой господин, ха-ха-ха-ха, я очень горд.

Хохоток доктора Прюнскваллора составлял часть его манеры говорить, и часть устрашающую, в особенности для того, кто слышал его впервые. Казалось, Доктор не способен справиться с ним, как если бы смех был составным элементом его голоса, верхним ярусом вокального диапазона, проявлявшимся в должной мере лишь когда Доктор смеялся. Было в нем что-то от ветра, воющего в высоких стропилах, с немалой долей конского ржания и малой – крика кроншнепа. Рот Доктора, испуская этот смешок, оставался почти неподвижным, точно дверь раскрытого настежь шкапа. Между похихатываниями он говорил очень быстро, что, когда он смеялся, сообщало тем большую странность неожиданной неподвижности его отменно выбритых челюстей. С каким-либо проявлением юмора смех никак связан не был. Характерная манера говорить, не более.

– Технически же, я испытываю такое удовлетворение, что и сам с трудом его переносу, ха-ха-ха-хе-хе-ха. О да, все прошло весьма, весьма удовлетворительно. Весьма и чрезвычайно.

– Я рад, – сказал его светлость, несколько мгновений проглядев на Доктора сверху вниз. – И вы ничего в нем не заметили? (Лорд Сепулькревий бросил взгляд в один конец коридора, потом в другой.) Странного? Ничего необычного?

– Необычного? – переспросил Прюнскваллор. – Вы сказали «необычного», мой господин?

– Да, – подтвердил лорд Сепулькревий. – Ничего неправильного? Не бойтесь, говорите прямо.

И снова лорд Сепулькревий оглядел коридор, но тот оставался по-прежнему пуст.

– В рассуждении строения ребенок крепок – налитой, будто колокол, динь-дон, в смысле строения, ха-ха-ха, – откликнулся Доктор.

- К черту строение! – сказал лорд Сепулькревий.
- Я в недоумении, мой господин, ха-ха. В совершенном недоумении, сударь. Если речь не о строении, то о чем же еще, мой господин?
- Его лицо, – сказал Граф. – Видели вы его лицо?
- Тут Доктор призадумался, потирая подбородок ладонью. Скосившись на своего господина, он обнаружил, что тот пристально всматривается в него.
- А! – неуверенно сказал он, – лицо. Лицо его маленькой светлости. Ага!
- Я спрашиваю, вы обратили на него внимание? – продолжал лорд Гроан. – Говорите же!
- Обратил, господин мой. О да, определенно обратил. – На сей раз Доктор не рассмеялся, но набрал побольше воздуха в грудь.
- Считаете вы его странным или не считаете? Да или нет?
- Говоря профессионально, – сказал Доктор Прюнскваллор, – я назвал бы его лицо необычным.
- Вы хотите сказать – уродливым? – спросил лорд Гроан.
- Неестественным, – ответил Прюнскваллор.
- Какая разница, любезный? – сказал лорд Гроан.
- Мой господин? – переспросил Доктор.
- Я спросил, уродливо ли оно, а вы ответили – неестественно. Почему вы виляете?
- Мой господин! – произнес Прюнскваллор, но поскольку сказано это было без какого бы то ни было выражения, вывести что-либо из его восклицания было трудно.
- Если я говорю «уродливо», будьте добры пользоваться этим же словом. Вы поняли? – Лорд Гроан говорил теперь очень тихо.
- Понял, мой господин, понял.
- Так красив он или уродлив? – настаивал лорд Гроан, желавший, по-видимому, исчерпать эту тему. – Случалось ли вам принимать более некрасивое дитя? Скажите честно.
- Никогда, – сказал Доктор. – Никогда, ха-ха-ха-ха. Никогда. И к тому же мальчика с такими – э-э, ха-ха-ха, мальчика с такими удивительными глазами.
- Глазами? – удивился лорд Гроан, – ас ними-то что не так?
- Не так? – воскликнул Прюнскваллор. – Вы сказали «не так», ваша светлость? Вы их сами-то видели?
- Нет, и говорите быстрее. Не тяните. Что с ними? Что с глазами моего сына?
- Они фиалковые.

ФУКСИЯ

Пока его светлость безмолвно взирал на Доктора, появилось новое действующее лицо – девочка лет пятнадцати с длинными, немного взлохмаченными черными волосами. Движения ее были неловки, лицо, пожалуй, некрасиво, но сколь малая малость требовалась, чтобы обратить ее в красавицу! Угрюмые губы ее были полны и ярки, глаза светились тлеющим огнем.

Желтый шарф привольно свисал с шеи девочки. Бесформенное платье алело, как пламя.

При всей прямизне ее стана, она немного сутулилась во время ходьбы.

– Постой, – сказал лорд Гроан, когда девочка почти уже миновала его и Доктора.

– Да, отец, – хрипловато отозвалась она.

– Где ты была последние две недели, Фуксия?

– О, то там, то здесь, отец, – ответила девочка, глядя на свои туфли. Она встряхнула головой и длинные черные волосы колыхнулись на ее спине, точно пиратский флаг. Поза ее отличалась почти невообразимой нескладностью. Полное отсутствие женственности – такого ни одному мужчине не выдумать.

– То там, то здесь? – устало отозвался отец. – Что означает «то там, то здесь»? Ты где-то пряталась. Где же?

– В библиотеке, в оружейной, гуляла, – ответила леди Фуксия и угрюмые глаза ее сузились. – Я только что слышала глупые сплетни насчет матери. Говорят, у меня появился брат – идиоты! идиоты! Ненавижу их. Ведь нет никакого брата, правда? Или есть?

– Маленький братик, – встрял доктор Прюнскваллор. – Да, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, крохотное, бесконечно малое, микроскопическое добавление к славному роду пребывает ныне за дверью спальни. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хе-хе! О да! Ха-ха! Чистая правда! Самая что ни на есть.

– Нет! – сказала Фуксия с такой силой, что Доктор зашелся отрывистым кашлем, а лорд Гроан отступил на шаг и брови его сошлись, а рот скорбно изогнулся книзу. – Неправда! – крикнула Фуксия, отворачиваясь от них и наматывая, наматывая на запястье толстую прядь черных волос. – Я не верю! Дайте мне выйти отсюда! Пустите!

Поскольку никто ее не держал, восклицания эти были бессмысленны, и она повернулась и со странной скованностью движений побежала по коридору, уходящему от площадки. Перед тем как Стирпайк потерял девочку из виду, до него долетели издали ее выкрики: «О, как я вас всех ненавижу! ненавижу! ненавижу! Как я ненавижу людей! Как ненавижу людей!»

Все это время господин Флэй вперялся взором в узкое окно восьмиугольной комнаты, размышляя о наилучшем способе, каким можно было б уведомить лорда Гроана, что он, Флэй, сорок лет состоящий в слугах, с неодобрением относится к тому, что его, так сказать, отодвинули в сторону в тот самый миг, когда у лорда родился сын, – в тот самый миг, когда его, Флэя, помощь могла оказаться бесценной. В общем и целом, господина Флэя все это несколько обижало, и ему очень хотелось, чтобы лорд Гроан узнал о его обиде, а в то же время трудновато было сыскать способ тактично сообщить о своих претензиях человеку, такому же замкнутому, как он сам. Господин Флэй хмуро грыз ногти. Он простоял у окна много дольше, чем намеревался, а когда обернулся, втянув голову в плечи – обычная его повадка, – то увидел юного Стирпайка, о котором совершенно забыл. Тогда он прошествовал к юноше и, ухватив его за фалды, рывком выволок на середину комнаты. Огромная картина, качнувшись, закрыла глазок.

– А ну-ка, – сказал он, – назад! Ты видел ее дверь, Свелтеров сопляк?

Стирпайку, до этой минуты затерянному в ошеломившем его мире, что лежал за дубовой перегородкой, понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя.

– Назад, к этому отвратному повару? – воскликнул он наконец, – о нет! ни за что!

– Слишком занят возиться с тобой, – сказал Флэй, – слишком занят, ждать не могу.

– Он урод, – яростно произнес Стирпайк.

– Кто? – сказал Флэй. – А ну, говори дальше.

– Он совершенный урод. Так сказал лорд Гроан. И Доктор тоже. Тьфу! Уродина.

– Это кто уродина, кухонное отродье? – осведомился Флэй, нелепо прыгнув вперед головой.

– Как кто? – откликнулся Стирпайк. – Младенец. Новорожденный. Оба так и сказали. Жуткий-прежуткий.

– Это еще что? – вскричал Флэй. – Что за вранье? Чьей болтовни ты наслушался? Я тебе уши оборву, никчемная тварь! С чего ты это взял? Подойди!

Стирпайк, давно задумавший сбежать из Великой Кухни, теперь твердо решил подыскать себе место в жилой части замка, где он сможет совать нос в дела тех, кто стоит выше него.



– Если я вернусь к Свелтеру, я расскажу ему, всем расскажу о словах его светлости и тогда...

– Подойди! – повторил сквозь зубы Флэй, – подойди или я тебе кости переломаяю. Рот разевать надумал? Я тебя утихомирю.

Широко шагая, Флэй выволок Стирпайка в узкий коридор и, пройдя половину его, остановился у некоей двери. Он отпер ее одним из своих ключей и, швырнув Стирпайка внутрь, замкнул за юношей дверь.

«СВЕЧНОЕ САЛО И ПТИЧЬЕ СЕМЯ»

Подобная гигантскому пауку, висящему на металлической нити, люстра парила над комнатой в девяти футах от дощатого пола. С раскинутых ею железных лап капля за каплей, капля за каплей вытягивались вниз бледные наплывы восковых сталактитов. Под железным пауком покоился грубо сколоченный стол с наполовину выдвинутым, полным птичьего корма ящиком, повернутый так, что на одном его углу подрастал понемногу конус свечного сала – мерцающая пирамида высотой со шляпу.

Беспорядок, царивший в комнате, граничил с хаосом. Всякая вещь казалась только что отброшенной в сторону. Даже кровать стояла под нелепым углом, словно она отпрыгнула от стены и теперь вопила, требуя, чтобы ее придвинули назад, вплотную к красным обоям. Свечи оплывали и вспыхивали, и тени раскачивались по стене из стороны в сторону или вверх-вниз, а за кроватью мотались по обоям теневые профили четырех птиц. Между ними колебалась огромная голова. Эту тень отбрасывала ее светлость, семьдесят шестая графиня Гроанская. Она лежала, откинувшись на подушки и обернув черной шалью плечи. Волосы ее, сиявшие темной, почти что черной рыжиной, выглядели так, словно кто-то затеял свивать на макушке огромный узел, да не закончив, бросил. Плотные завитки падали ей на плечи и сплетались на подушках, точно горящие змеи.

Глаза у Графини были бледно-зеленого, частого у кошек оттенка. Очень большие, они все же казались маленькими в сравнении с бледной ширью ее лица. Нос был достаточно крупен, чтобы таким и выглядеть, несмотря на облегавший его простор. Графиня оставляла впечатление существа очень массивного, хотя поверх покрывала виднелись лишь руки ее, плечи, шея и голова.

По левой руке, лежавшей на покрывале ладонью кверху, бочком сновала туда-сюда сорока, выклеывая по зернышку из холмика насыпанной на ладонь пшеницы. На плечах Графини сидели черноголовый чекан и здоровенный ворон, этот спал. Спинку кровати украшали собою два скворца, деряба и небольшая сова. Время от времени между прутьями решетки в высоко сидящем оконце, почти никакого света не пропускавшем, появлялась новая птица. Плющ, пробившийся сквозь оконце снаружи, уже распустил усики снутри по стене, по ее красным обоям. И хотя этот плющ придушил и ту малость света, какую пропускало оконце, сил его не хватало, чтобы помешать птицам во всякий час дня и ночи проникать в комнату и навещать леди Гертруду.

– Ну будет, будет, будет! – глубоким, хриплым голосом проговорила Графиня, обращаясь к сороке. – Хватит с тебя на сегодня, моя дорогая!

Сорока подскочила на несколько дюймов, вновь опустилась на запястье Графини и встопорщила перья, постукивая длинным хвостом по стеганому одеялу.

Леди Гроан метнула остатки зерна через комнату, и черноголовый чекан, спрыгнув со спинки кровати ей на голову, забил крыльями, снялся с этой странноватой взлетной площадки, дважды облетел комнату, пройдя на втором круге между сталактитами светящегося воска, и опустился на пол – там, где упало зерно.

Графиня Гроанская зарылась локтями в подпирающие ее подушки, ставшие плоскими и неудобными, и приподняла свое массивное тело на сильных, грузных руках. Затем она вновь обмякла, раскинув руки влево и вправо вдоль изголовья, так что ладони ее свисли с краев ложа. Складка рта ее не казалась ни грустной, ни радостной, Графиня отсутствующе вглядывалась в подрастающую на столе восковую пирамиду. Она провожала взглядом каждую каплю, падавшую на тупую вершинку конуса и вяло стекавшую в неровной его стороне, обращаясь в длинный мякотный лепесток.

Задумалась ли Графиня или погрузилась в пустую дремоту, об этом догадаться было невозможно. Громада ее неподвижного тела отвалилась назад, руки простерлись вдоль спинки кровати, и тут пропахшее воском безмолвие комнаты нарушилось внезапным стрепетом и скрябом, и Графиня, не повернув головы, скосила взгляд к маячившему в четырнадцати футах над полом заросшему оконцу и увидела, как листья плюща разошлись и с виноватым видом из них вылезла голова, а следом и плечи грача-альбиноса.

– А-га, – произнесла Графиня медленно, словно придя к какому-то выводу, – вот и ты, не так ли? Наш побродяжка вернулся. И где же он жил-поживал? Что поделявал? На каких сиживал деревьях? Через какие пролетал облака? Каков красавец! Какой роскошный пук белых перьев! Какой пук всевозможных пороков!

Белый грач, измахренный со всех сторон листвою плюща, сидел, склоняя голову то в одну сторону, то в другую, слушая ее или делая вид, что слушает, с большим интересом и несколько нарочитым смущением, ибо, если судить по его движениям, время от времени выдаваемым плющом, грач явно переступал с ноги на ногу.

– Три недели, – продолжала Графиня, – три недели его со мной не было. Выходит, я недостаточно хороша для него, о нет, для кого угодно, только не для господина Альбаstra, однако же вот он, вернулся и жаждет прощения! О да! Теперь его старому тяжкому клюву требуется целое дерево прощения, а оперению – отпущенье грехов, совершенных за месяц.

Графиня снова приподнялась на постели, закрутила на длинном указательном пальце длинную прядь темных волос и, не отводя взгляда от птицы, обратила лицо к двери и произнесла почти неслышно, словно обращаясь к себе самой:

– Ну заходи уж.

Плющ вновь зашуршал, и звук этот еще не успел затихнуть, как кровать дрогнула от внезапно опустившейся на нее белой птицы.

Белый грач стоял на спинке изножья, вцепившись в нее когтями и глядя на леди Гроан. Миг-другой пробыв в неподвижности, он, твердо ступая, прошелся по спинке взад-вперед, а после спорхнул на покрывало, к ногам ее светлости, свернул голову назад и зарылся клювом в собственный хвост, при этом перья на его шее, жесткие, как плющенный воротник, встали торчком. Так, поклевывая свой хвост, он продвигался по холмистой постели, пока не оказался в нескольких дюймах от лица ее светлости, и только тогда закинул по-грачиному голову и каркнул.

– Значит, прощения просишь, так? – спросила леди Гроан. – И думаешь, им все и кончится? И не будет больше вопросов о том, где ты таскался, где пролетал три этих долгих недели? Вот, значит, как, господин Альбастр? Хочешь, чтобы я простила тебя во имя нашего прошлого? Явился и трешься своим старым клювом о мою руку? Ну, иди ко мне, мой беленький, иди ко мне, ладно. Иди.

Ворон, сидевший на плече леди Гроан, пробудился и сонно поднял на дюйм-другой эфиопское крыло. Затем уставил неодобрительный взгляд на белого грача. Теперь он проснулся окончательно и стоял с лежащей между его ногами прядью темно-красных волос. Сова, словно заступая на покинутый вороном пост, немедля заснула. Один из скворцов в три медленных шага повернулся клювом к стене. Деряба не шелохнулась, зато замерцала оплывшая свеча и жутковатая тень, отделяясь от высокого буфета, поползла по доскам пола, вскарабкалась на кровать и успела докрасться до середины стеганого одеяла, прежде чем отступить тем же путем, снова свернуться в клубок и задремать под буфетом.

Взгляд леди Гроан возвратился к подрастающей пирамиде свечного сала. Светлые глаза ее то беспощадно впивались в светящийся наплыв, то, казалось, становились незрячими, пустыми, содержащими еле приметный намек на что-то детское в них. Вот так, словно отсутствуя, она глядела на бледную пирамиду, а рука ее между тем, будто бы безотчетно, перебирала перья на груди, голове и горле белого грача.

Некоторое время в комнате стояла полная тишина, затем стук в дверь спальни вырвал леди Гроан из забытья, заставив ее вздрогнуть.

Глаза ее обрели сосредоточенное, напрочь лишенное любви, кошачье выражение.

Птицы встрепенулись, одновременно перепорхнули на изножную спинку и замерли, уравновесившись длинной неровной шеренгой, настороженно повернув головы к двери.

– Кто? – тяжким голосом спросила леди Гроан.

– Это я, госпожа, – донесся дрожащий голосок.

– Кто стучит в мою дверь?

– Это я, с его светлостью, – ответил голосок.

– Что? – крикнула леди Гроан. – Что тебе нужно? Зачем ты стучишься ко мне?

Тот, кто стоял за дверью, нервно возвысил голос и выкрикнул:

– Это я, нянюшка Шлакк. Я, госпожа моя, нянюшка Шлакк.

– Что тебе нужно? – устраиваясь поудобней, повторила ее светлость.

– Я с его светлостью, чтобы вы посмотрели, – прокричала, уже не так испуганно, нянюшка Шлакк.

– Ах, вот оно что, вот как? Еще и с его светлостью. Так ты хочешь войти, что ли? С его светлостью. – На миг повисло молчание. – А зачем? Зачем ты его привела?

– Чтобы вы посмотрели, если хотите, моя госпожа, – ответила нянюшка Шлакк. – Он только что искупался.

Леди Гроан, окончательно обмякнув, утонула в подушках.

– А, это ты о *новом*? – пробормотала она.

– Можно мне войти? – крикнула нянюшка Шлакк.

– Да, и поторопись! Пошевеливайся! Хватит скрестись у моей двери. Чего ты там дожидаешься?

Скрежет дверной ручки поверг в оцепенение выстроившихся на спинке кровати птиц, но едва дверь растворилась, как как все они разом взвились в воздух и сгнули, продравшись одна за другой сквозь неподатливую листву, забившую маленькое оконце.

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО ДЛЯ ТИТУСА

Вошла нянюшка Шлакк, неся на руках наследника многих миль каменного, скрепленного известковым раствором хаоса, Кремнистой Башни и затянутых ряской рвов, острых гор и лимонно-зеленой реки, из которой через дюжину лет Титусу предстояло выуживать уродливых рыб, также принадлежащих ему по праву наследования.

Она поднесла малыша к кровати и повернула маленьким личиком к матери, взглянувшей сквозь него и произнесшей:

– Где этот доктор? Где Прюнскваллор? Положи младенца и открой дверь.

Нянюшка Шлакк подчинилась, и едва она повернулась спиной к кровати, леди Гроан склонилась к ребенку, вглядываясь в него. Маленькие глазки туманил сон, отблеск свечей играл на лысой головке, вылепливая череп из передвижных теней.

– М-м, – сказала леди Гроан, – и что я, по-твоему, должна с ним делать?

Нянюшка Шлакк, совсем седая и старая, с глазками в красных ободах век, никогда особой сообразительностью не отличалась и потому смогла в ответ лишь бессмысленно вытаращиться на госпожу.

– Он искупался, – сказала она наконец. – Только что искупался, да благословят небеса душу его маленькой светлости.

– О чем это ты? – спросила леди Гроан.

Вместо ответа старая нянька проворно подхватила младенца и принялась нежно баюкать его.

– Прюнскваллор здесь? – повторила леди Гроан.

– Внизу, – прошептала Нянюшка, указав сморщенным пальчиком в пол, – в-внизу, да, наверное, все еще пунш пьет в Погребях. Да, маленький, и пусть благословят его небеса.

Последнее относилось, видимо, к Титусу, а не к доктору Прюнскваллору. Леди Гроан приподнялась на постели и, вперся яростным взглядом в дверь, взревела так низко и громко, как только смогла:

– СКВАЛЛОР!

Слово это эхом заухало в коридорах и покатило по лестницам вниз, пролезло под дверь, пронеслось по черным рогожам Погребов и, вскарабкавшись по телу доктора Прюнскваллора, ухитрилось протиснуться в оба его уха сразу, властное, хоть слегка и помятое. Помятое ли, нет ли, оно тем не менее заставило Прюнскваллора мигом вскочить на ноги. Рыбьи глаза его, поплавав за очками, всплыли к самому лбу, придав Доктору вид фанатичного мученика. Длинными, на удивление изящными пальцами он взъерошил седую копну своих волос, в один глоток прикончил стакан с пуншем и ринулся к выходу, сбивая с сюртука крохотные круглые капельки.

Еще не достигнув Графининой спальни, Доктор принялся репетировать предположительный разговор, подчеркивая невыносимым смехом главную суть каждой второй фразы.

– Моя госпожа, – сказал он, дойдя до двери спальни и, прежде чем войти, предъявил леди Гроан и нянюшке Шлакк одну лишь свою, как бы отсеченную, голову, выставив ее из-за дверного косяка. – Госпожа моя, ха-ха-хе-хе-ха-хе, я услышал ваш голос внизу, пока я там э-э-э...

– Надирались, – сказала леди Гроан.

– Ха-ха – как верно, как замечательно верно, ха-ха-ха-хе, пока я там, ха-ха, надирался, по образному выражению вашему. До самого низу дошел он, ха-ха, до самого низу.

– Кто дошел? – грянула, прерывая его трепотню, леди Гроан.

– Ваш голос, – сказал Прюнскваллор, воздевая правую руку и неторопливо сводя кончики большого и указательного пальцев, – ваш голос настиг меня в Погребках. Вот именно, настиг!

Графиня смерила его тяжелым взглядом и поглубже зарыла локти в подушки.

Нянюшка Шлакк укачивала младенца.

Доктор Прюнскваллор легко постучал длинным пальцем по свечному сталактиту и страшноато улыбнулся.

– Я позвала вас, – сказала Графиня, – желая сообщить вам, Прюнскваллор, что завтра утром я встану.

– О, хе-ха-ха, о госпожа моя, о, ха-ха, госпожа моя, – *завтра?*

– Завтра, – сказала Графиня, – почему бы и нет?

– Говоря профессионально... – начал доктор Прюнскваллор.

– Почему бы и нет? – повторила Графиня, вновь прерывая его.

– Ха-ха, весьма необычно, весьма неестественно, ха-ха, совершенно неслыханно, слишком, *слишком* скоро.

– Стало быть, вы собирались запереть меня здесь надолго, Прюнскваллор? Я так и думала, я догадалась. Я встану завтра – завтра *на заре*.

Доктор Прюнскваллор пожал узкими плечиками и возвел глаза горе. Затем, сложив крышей кончики пальцев и обратившись к темному потолку, сообщил:

– Я лишь *советую*, но никогда не приказываю. – Тон его свидетельствовал о том, что он мог бы и приказать, и как еще, сочти он это необходимым. – Ха-ха-ха, о нет! Только советую.

– Чушь, – ответила Графиня.

– Я так не думаю, – отозвался доктор Прюнскваллор, по-прежнему глядя вверх. – Ха-ха-ха, о нет! вовсе нет.

При последних словах глаза его переметнулись с потолка на лежащую в постели Графиню, пробежались по ней и с еще большей скоростью заметались за стеклами. Увиденное встревожило Доктора, ибо лицо Графини выражало неприязнь столь сгущенную, что, еще не оторвав от нее взгляда, Доктор обнаружил: ноги его сами собой переступают назад и, не успев даже надумать, как ему поступить, оказался у двери. Отвесив торопливый поклон, Доктор убрался из спальни.

– Ну разве он не сладенький, разве не самая сладкая крошечка сахарку на свете? – пропела нянюшка Шлакк.

– Кто? – рывкнула Графиня так громко, что череда свечей зашаталась в дрогнувшем свете.

– Его маленькая светлость, – тихо проскулила Нянюшка, – его миленькая маленькая светлость.

– Шлакк, – сказала Графиня, – убирайся отсюда! Когда мальчишке исполнится шесть, принесешь его мне, посмотреть. Найди ему кормилицу в Наружных Жилищах. Сшей зеленый костюмчик из бархатных штор. Возьми вот это золотое колечко. Приделай к нему цепочку. Пусть носит на своей кривенькой шейке. Назовешь его Титусом. Иди, и оставь дверь приоткрытой ровно на шесть дюймов.

Графиня сунула руку под подушку, вытянула оттуда дудочку, приложила ее к огромному рту и дунула. Две долгих, сладостных ноты поплыли по темному воздуху. Услышав их, нянюшка Шлакк стрелой золотое колечко, которое Графиня швырнула на одеяло, и со всей быстротой, на какую были способны ее старые ноги, выкатилась из спальни с таким видом, будто вурдалак гнался за ней по пятам. Леди Гроан откинулась на подушки, глаза ее распахнулись, как у ребенка, в радостном, взволнованном предвкушении. Не отрывая их от двери, она вцепилась в края подушек и замерла.

Рокот, все нараставший, поплыл издали и плыл, приближаясь, пока не заполнил собою всю спальню, и тогда, внезапно, сквозь узкую прорезь двери в мглистую комнату хлынула белизна, и через миг в ней не осталось ни тени, не выбеленной котами.

СЕПУЛЬКРЕВИЙ

Каждое утро, между девятью и десятью часами, его можно лицезреть сидящим в Каменной Зале. Именно здесь, за длинным столом, он завтракает. Стол стоит на помосте и оттуда, где сидит Сепулькревий, ему видна вся серая трапезная. По обеим ее сторонам, во всю длину, огромные колонны подпирают расписной потолок, на котором херувимы гоняют друг друга по просторам отслаивающегося неба. Всего их там, сплетающихся среди облаков, не менее тысячи, пухлые конечности шалунов пребывают в непрерывном движении и все-таки никогда никуда не сдвигаются по причине анатомического их неустройства. Краски, некогда ослепительные, ныне выцвели и пооблезли, и потолок приобрел тона нежнейшие – серости, липовой зелени, старых роз, серебра.

Наверное, лорд Сепулькревий пригляделся к херувимам уже очень давно. Вероятно, он еще ребенком не единожды пытался их сосчитать, как пытался его отец, и как еще предстоит попытаться Титусу; так оно или не так, но лорд Сепулькревий уже многие годы не поднимал глаз к нарисованному небу. Как мог он *любить* это место? Он составлял с ним единое целое. Он не умел вообразить никакого внешнего мира, так что мысль о любви к Горменгасту повергла б его в ужас. Спрашивать его о чувствах, которые он питает к своему родовому дому – все равно, что спрашивать человека, какие чувства испытывает он к своей руке или горлу. Разумеется, лорд Сепулькревий не забыл о существовании херувимов. Их написал его прадед, которому с воодушевлением помогал слуга, в конце концов свалившийся с подмостьев и, пролетев семьдесят футов, разбившийся насмерть. Но похоже, единственным, что еще способно было вызвать у лорда Сепулькревия хоть какой-нибудь интерес, остались книги его библиотеки да нефритовый набалдашник серебряного жезла, который Граф мог разглядывать часы напролет.

Приходя сюда, как то было заведено, ровно в девять часов каждого утра, он вступал в длинную залу и с меланхоличнейшим выражением шел меж рядами длинных столов, вдоль которых, ожидая его, стояли со склоненными головами слуги всех, какие были учреждены в замке, разрядов.

Он всходил на помост, огибал его, направляясь к дальнему краю стола, туда, где висел тяжелый бронзовый колокол. Ударял в него. Слуги немедленно садились и приступали к завтраку, состоявшему из хлеба, рисового вина и сладкого пирога.

Иным было меню лорда Гроана. Сидя нынче утром в кресле с высокой спинкой, он видел перед собой – хоть мгла меланхолии застилала его мозг и сосала сердце, лишая оное силы, а тело здоровья, – он видел перед собой белоснежную скатерть. Стол был накрыт на двоих. Светилось серебро, на двух тарелках стояли салфетки, сложенные в виде сидящих павлинов. Упоительно пахло хлебом, вкусным и полезным. Он видел ярко раскрашенные яйца; пагодой сложенные тосты – ярус за ярусом и каждый был хрупок, как высохший лист; рыб с засунутыми во рты хвостами, лежавших на синих, точно море, тарелках. Он видел кофейник, имевший форму льва, из серебряных челюстей которого торчал носик. Он видел отливающие всевозможными красками фрукты, которые в этой темной зале выглядели странно тропическими. Он видел варенья и меды, желе, орехи и пряности, и удобно стоящую перед ним в окружении золотой столовой утвари Гроанов тарелку, с которой поедали свой завтрак все его предки. В середине стола помещалась маленькая жестяная ваза с одуванчиками и крапивой.

Лорд Сепулькревий сидел, безмолвствуя. Казалось, он не замечал расставленных перед ним яств, как не замечал, по временам поднимая голову, ни длинной, холодной трапезной, ни слуг за ее столами. Справа от него, на ближнем углу стола располагались серебряные приборы и глиняная посуда, предвещавшая появление человека, в обществе коего неизменно

завтракает его светлость. Не отрывая глаз от нефритового набалдашника трости, которую он неторопливо поверчивал, уперев наконечником в пол, лорд Гроан еще раз ударил в бронзовый колокол, и в стене за его спиной растворилась дверь. Вошел Саурдуст, неся подмышкой огромные книги. Багровая дерюга облекала его. Черные и белые пряди всклокоченной бороды старика свалились, завязавшись узлами. Лицо было покрыто таким множеством морщин, словно его изготовили из бурой оберточной бумаги, смятой чьей-то свирепой рукой, а после разглаженной и расстеленной по лицевым тканям. Глубоко сидящие глаза почти терялись в тени благородного чела, всем морщинам коего не удавалось укрыть округлую широту лобной кости.

Старик уселся в конце стола, стопкой сложил четыре тома вблизи фарфорового кувшина и, подняв на лорда Гроана глубоко сидящие глаза, слабым, дрожащим голосом, в котором присутствовало, впрочем, некое достоинство, как будто дело шло не только об исполнении ритуала, но и том, что сегодня, как и всегда, таковой исполнения достоин, – пробормотал следующие слова:

– Я, Саурдуст, распорядитель библиотеки, личный советник вашей светлости, девяностолетний старик и ученый исследователь мудрости Гроанов, приветствую вашу светлость в это темное утро, облаченный, как я есть, в лохмотья, изучающий, как тому и быть надлежит, эти тома, и девяностолетний, как то случилось со мною с течением лет.

Произнесено это было на одном дыхании, а следом старик неприятно закашлялся, прижимая руку к груди.

Лорд Гроан уткнул подбородок в костяшки сложенных на нефритовом набалдашнике ладоней. У него очень длинное, оливкового цвета лицо. Глаза большие, выразительные, взгляд отрешенный. Ноздри подвижные и чувствительные. Рот – тонкая линия. На голове его – железная корона Гроанов, прикрепленная застегнутым под подбородком кожаным ремешком. В короне четыре зубца, имеющих форму стрела стрелы. Между зубцами свисают петельками цепочки. Поскольку право создания прецедента принадлежит только ему, Граф одет сегодня в темно-серый халат.

Казалось, он не услышал приветствия Саурдуста, – в первый за утро раз взглядевшись в стол, Граф отломил кусочек тоста и машинально отправил его в рот. Так он этот тост и поклевывал почти весь завтрак. Рыбы на блюде остыли. Саурдуст переложил к себе на тарелку одну из них, ломоть арбуза и зеленое, словно пламя, яйцо, все же прочее, что стояло на ритуальном столе, обречено было утратить и свежесть свою, и жар.

Под ними, в низу длинной залы стихнул лязг ножей. Кувшины с рисовым вином, проплыв вперед и назад вдоль стола, опустели. Слуги ждали знака, который позволит им возвратиться к исполнению привычных обязанностей.

Саурдуст, отерев старый рот салфеткой, повернулся к его светлости, уже сидевшему, откинувшись на спинку кресла и потягивая из стакана черный чай; глаза Графа, как обычно, ни на что не смотрели. Библиотекарь неотрывно следил за левой бровью его светлости. Часы на дальней стене залы показывали без двадцати одной минуты десять. Казалось, лорд Гроан смотрит сквозь эти часы. Минуту три четверти минуты, осталось десять секунд – пять секунд – три – одна – до без двадцати десять. Вот оно, без двадцати. Левая бровь лорда Гроана механически приподнялась и осталась приподнятой, накрытая тремя морщинами. Затем медленно опустилась. В тот же миг Саурдуст встал и топнул в пол тощей старой ногой. Багровая мешковина дрогнула на его теле, черно-белая борода замоталась туда-сюда, как одержимая.

Столы опустели мгновенно, спустя полминуты последний слуга покинул трапезную, а отведенную челяди дверь в дальнем конце залы закрыли и заперли на засов.

Саурдуст снова уселся, слегка отдуваясь, неприятно покашливая. Затем, перегнувшись через стол, вилкой поскреб белую салфетку, лежавшую перед лордом Гроаном.

Его светлость обратил к старому библиотекарю и советнику темный, влажный взгляд.

– Да, – отсутствующим тоном произнес он. – В чем дело, Саурдуст?

– Сегодня девятый день месяца, – сказал Саурдуст.

– А, – откликнулся его светлость.

Последовало молчание, которым Саурдуст воспользовался, чтобы распустить и снова завязать несколько узлов на своей бороде.

– Девятый, – повторил его светлость.

– Девятый, – пробормотал Саурдуст. Уставя на господина глубоко посаженные глаза, он повторил, словно эхо: – Тяжелый день, девятый... всегда тяжелый день.

Большая слеза покатилась по щеке Саурдуста, с трудом находя себе путь между морщин. Глаз, слишком глубоко утонувших в затененных глазницах, видно не было. Ни знаком, ни движением не выдал Саурдуст каких-либо горестных чувств, если они у него имелись. Да и крупные слезы, подобные этой, редко когда выползали из мрака, сгустившегося под его челом, – разве в такие вот минуты помышления о трудах, относящихся до традиций Замка. Пальцы Саурдуста обшаривали большие тома, лежавшие рядом с тарелкой. Его светлость, словно приняв после долгих раздумий некое решение, склонился вперед, положил трость на стол и поправил на голове железную корону. Затем, подперев ладонями длинный оливковый подбородок, он повернул лицо к старику:

– Продолжай.

Саурдуст, торопливо и тряско поддернув свою мешковину, встал, обошел кругом покинутое им кресло, на несколько дюймов придвинул его к столу и, протиснувшись между ним и столешницей, осторожно уселся снова, видимо, с пущим удобством, нежели прежде. Затем он с великим тщанием, склоняя над каждым предметом наморщенное чело, принялся раздвигать многообразные блюда, графинчики, стекло, серебро и уже остывшие кушанья, образуя на белой скатерти правильный полукруг. И только образовав его, Саурдуст разложил перед собою три тома, до того лежавшие у его локтя. Он раскрывал их один за другим, тщательно уравнивая на пергаменовых корешках, дабы книги сами распахивались на страницах, помеченных узорчатыми, вышитыми закладками.

На каждой левой странице стояла вверху дата, и в первом из трех томов за нею следовал список деяний, час за часом совершаемых в этот день его светлостью. Точное время, платье, в которое должно облачаться для каждого случая, символические жесты, кои следует произвести. Планы, начертанные на противоположной странице, в подробностях изъясняли пути, по которым его светлости надлежало проследовать к тем или иным театрам совершаемых им действий. Планы были расцвечены вручную.

Том второй, чисто символический, состоял из пустых страниц, зато третий содержал множество перекрестных ссылок. Если б, к примеру, его светлость лорд Сепулькревий, нынешний граф Гроанский, был на три дюйма ниже ростом, его одеяния, жесты и даже пути отличались бы от тех, что описывались в первом томе, и пришлось бы извлечь из огромной библиотеки том совершенно иной, пригодный в подобном случае. Будь кожа его светлее, будь он сам погрузнее, имей он глаза зеленые, карие либо голубые, а не черные, в это утро на столе для завтрака автоматически появился бы другой свод древних правил. Во всей полноте эту сложную систему понимал лишь один Саурдуст, – изучение ее технических тонкостей требовало целой жизни, исполненной неустанных трудов, – однако священный дух традиции, подразумеваемый ежедневным ее соблюдением, был внятен всякому в замке.

В следующие двадцать минут Саурдуст наставлял его светлость относительно не самых прозрачных тонкостей, связанных с деяниями этого дня, наставлял высоким, надтреснутым голосом, делая между фразами паузы, во время которых подрагивали штриховые кресты морщинок в углах его рта. Его светлость молча кивал. Кое-какие маршруты, намеченные на «девятое» в планах первого тома, уже устарели, скажем, в 2 часа ЗУ минут попо-

лудни лорду Гроану надлежало сойти по железной лестнице в серый вестибюль, выходящий к пруду, в котором плавают карпы. Лестницу эту еще семьдесят лет назад искорежил и закрутил винтом великий пожар, спаливший дотла и сам вестибюль. Пришлось придумать другой маршрут. Новый отвечал, по мере возможности, духу исконной концепции и времени для исполнения требовал в точности такого же. Саурдуст, сжимая вилку в дрожащей руке, чертил на скатерти новый маршрут. Его светлость кивал.

Изъяснив дневные обязанности – до десяти часов оставалась ровно одна минута, – Саурдуст откинулся в кресле и спустил на бороду тонкую струйку слюны. Каждые несколько секунд он бросал взгляд на часы.

Его светлость протяжно вздохнул. Глаза его мгновенно вспыхнули и снова погасли. Линия рта, казалось, смягчилась на миг.

– Саурдуст, – произнес он, – ты слышал о моем сыне?

Саурдуст, не отрывавший глаз от часов, не услышал даже вопроса своего господина. Что-то попискивало у него в горле и в груди, уголки рта дергались.

Лорд Гроан быстро взглянул на старика и оливковое лицо его побледнело. Взяв со стола чайную ложку, он согнул ее в три четверти круга.

В стене за помостом резко раскрылась дверь, вошел Флэй. – Пора, – сказал он, приближаясь к столу.

Лорд Сепулькревий встал и направился к двери.

Флэй угрюмо кивнул старику в багровой дерюге и, напихав в карманы куртки персиков, последовал за его светлостью, шествовавшим между колонн Каменной Залы.

КОЛЕНО ПРЮНСКВАЛЛОРА

Разбросанные игрушки, книги и полоски цветной ткани заполняли в спальне Фуксии все четыре угла. Спальня находилась в середине левого крыла, на третьем этаже. Большую часть внутренней стены с расположенной в ней дверью занимала ореховая кровать. Два треугольных окна в противоположной стене выходили на крепостные укрепления, по которым в полнолуние каждого второго месяца прогуливались на фоне заката силуэты мастеров-ваятелей из глиняных хижин. За крепостными стенами простирались ровные пастбища, а за пастбищами – образованный преимущественно терниями Извитой Лес карабкался по все более отвесным кручам горы Горменгаст.

Глухие стены своей комнаты Фуксия покрыла стремительными, сделанными углем рисунками. Тут не было попытки как-то украсить коралловую штукатурку любой из этих стен. Рисунки возникали все больше в минуты, когда ее охватывало отвращение или волнение, и хоть они не отличались ни особенной тонкостью, ни правильностью пропорций, их наполняла удивительная сила. Эти бешеные украшения сообщали двум стенам спальни вид столь необузданный, что груды игрушек и книг в четырех углах выглядели, в сравнении, чопорно опрятными.

Только через эту спальню и можно было попасть на чердак, в истинное царство Фуксии. Дверь, что вела к поднимавшейся во мрак витой лестнице, находилась прямо за кроватью, так что открыть ее, походившую на дверцу посудного шкапа, можно было, лишь оттащив кровать от стены.

Фуксия неизменно возвращала кровать на место, чтобы никто не смог проникнуть в ее святилище. Необходимости в этой предосторожности не было никакой, поскольку, кроме госпожи Шлакк, в спальню никто не заглядывал, а старенькой няньке нипочем не удалось бы вскарабкаться по ста с чем-то узким, темным ступенькам, приводившим в конце концов на чердак, бывший, сколько помнила себя Фуксия, неоскверненным миром, принадлежавшим ей одной.

Пока одно поколение сменяло другое, какая-то часть хлама Горменгаста находила дорогу в эту область крапчатого света, в эти теплые, бездыханные, вневременные края, где гигантские стропила плыли по воздуху, окруженные тучами мотыльков. Где пыль была, как пыльца, нежно укрывшая все вокруг.

Чердак состоял из двух галерей и мансарды, вторая галерея, в которую можно было спуститься из первой по трем хлипким ступенькам, шла к первой под прямым углом. На дальнем ее конце деревянная лесенка поднималась к похожему на узкую веранду балкону. На левом краю балкона имелась дверца, безмолвно висящая на одной петле, дверца эта вела в третье из образующих чердак помещений. Им-то и была мансарда, к которой Фуксия относилась как к сокровенному месту, своего рода языческому капищу, неприступной крепости, твердыне, никогда не называемому царству, ибо назвать его значило нарушить обет – совершить святотатство.

В день, когда родился ее брат, в то время как замок под нею гудел от изливавшихся сверху слухов, наполняющих комнату за комнатой, галерею за галереей – и так до самых нижних погребов, – Фуксия, как и Ротткодд в его Зале Блистающей Резьбы, пребывала в полном неведении.

Она дернула за черный хвостик витого шнура, свисавшего с потолка в углу спальни, и в далекой комнате, которую госпожа Шлакк обжила еще два десятка лет тому назад, зазвонили сразу несколько колокольцев.

Солнечный свет, лиясь между восточных стрельниц, освещал Стену Резчиков и падал на горный склон за нею. Солнце вставало, и одно терновое дерево горы Горменгаст за дру-

гим возникало в белесом свете, поочередно обращаясь в призраков, там, здесь, по всему огромному тулову горы, пока она не претворилась в неровный треугольник, светящийся на фоне тьмы. Семь облачков, словно стайка нагих херувимов или выводок поросят-сосунков, плыли, пухлые и розоватые, по аспидному небу. Фуксия хмуро последила за ними, глядя в окно. Затем выпятила нижнюю губу. Уперла руки в бока. Голые ступни ее замерли на каменных плитах.

– Семь, – сказала она, смерив каждое грозным взглядом. – Их там семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь облачков.

Она поплотнее стянула на плечах желтую шаль, ибо ее, одетую только в ночную рубашку, уже пробирала дрожь, и снова дернула за шнурок, призывая госпожу Шлакк. Порывшись в ящике стола, она отыскала угольный карандаш, подошла к сравнительно пустому участку стены и, начертав злобное 7, обвела его кружком и тяжелыми, непреклонными буквами вывела снизу: «ОБЛАКА».

Фуксия отвернулась от стены и, неуклюже приволакивая ногу, шагнула к кровати. Длинные, черные как смоль волосы привольно спадали ей на плечи. Глаза, всегда слегка затуманенные, не отрывались от двери. Так она и стояла, выдвинув ногу вперед, когда ручка двери повернулась и вошла нянюшка Шлакк.

Увидев ее, Фуксия стронулась с места, но направилась не к кровати, а в пять шагов приблизилась к госпоже Шлакк и, быстро обвив руками шею старухи, яростно поцеловала ее, отступила и поманила к окну, указывая в небо. Госпожа Шлакк глянула поверх протянутой Фуксией руки и указующего перста и спросила, что она должна там увидеть?

– Толстые облака, – сказала Фуксия. – Их там семь.

Старушка прищурилась, взгляделась, но только на миг.

И издала негромкий писк, означавший, видимо, что картина не произвела на нее впечатления.

– Почему семь? – спросила Фуксия. – Семь для чего-то. Для чего семь? Один для гордой гранитной гробницы – два для дикого дома из дуба; три для крошечных коварных коней; четыре для рыцаря со шпорой из пырея; пять для рыбы с радостным ртом; шесть – зачем шесть, забыла; а семь – для чего семь? Восемь для жабы с глазами, как бусы; девять, что девять? Девять для... девять, девять... десять для тысячи тоненьких тостов. А семь для чего?

Фуксия притопнула ногой и уставилась на бедную старую няню.

Нянюшка Шлакк чуть слышно покашляла – к чему прибегала обычно, желая выиграть время, – а после сказала:

– Хочешь горячего молочка, сокровище мое? Тогда скажи, потому что я очень занята, мне еще белых котов кормить, дорогая. Знают, какая я расторопная, душечка моя, вот и наваливают на меня то одно, то другое. Зачем ты звонила? Говори поскорее, выдумщица моя. Зачем звонила?

Фуксия прикусила пухлую красную губу, тряхнула гривой ночных волос и отвернулась к окну, обхватив за спиною локти ладонями. И замерла, напряженная, угловатая.

– Мне нужен плотный завтрак, – наконец сказала она. – Куча еды, я собираюсь думать сегодня.

Нянюшка Шлакк разглядывала бородавку на своем левом предплечье.

– Ты не знаешь, куда я пойду, но я пойду в одно место, где можно подумать.

– Да, дорогая, – сказала старушка.

– Принеси мне горячего молока, и яиц, и кучу тостов, поджаренных только с одной стороны. – Фуксия нахмурилась и примолкла. – И еще пакет с яблоками, чтобы хватило на целый день, потому что, когда я думаю, мне хочется есть.

– Да, дорогая, – повторила нянюшка Шлакк, вытягивая нитку, торчащую из подола ее рубашки. – Ты пока поиграй, выдумщица моя, а я приготовлю тебе завтрак, и постель застелю, хотя мне что-то нынче неможется.

Фуксия порывисто наклонилась к старенькой няне и, еще раз поцеловав ее в щеку, выпустила старушку из комнаты, захлопнув дверь за ее удалившейся фигуркой с треском, эхом отозвавшимся в сумеречных коридорах.

Едва закрылась дверь, как девочка прыгнула на кровать и, головой вперед поднырнув под одеяла, поползла, извиваясь, к ее изножью, где, судя по всему, схватилась не на жизнь, а на смерть с каким-то напавшим на нее зверем. Впрочем, бурление покрывал прекратилось так же внезапно, как началось, и Фуксия вылезла наружу с парой длинных шерстяных чулок, которые она, должно быть, сдернула с ног этой ночью. Сидя на подушках, она принялась, чередую рывков и подскоков, натягивать их, пока наконец, натужно извиваясь, не перекрутила уже натянутые чулки пятками назад.

– Ни с кем сегодня видаться не буду, – говорила она себе, – ни с кем, ни с единой душой. Пойду в мою тайную комнату и все как следует обдумаю.

Она улыбнулась себе самой. Улыбка была озорной, но совершенно очаровательной в ее детском лукавстве. Губы Фуксии, полные, хорошо очерченные, на удивление взрослые, изогнулись, точно пухлые лепестки, приоткрыв белые зубы.

Едва осветясь улыбкой, лицо ее снова переменялось и вздорное выражение, так ей не шедшее, воцарилось на нем, заставив сойтись черные брови.

Процесс одевания то и дело прерывался, поскольку между добавлением каждой из одежд Фуксия исполняла собственного изобретения танец. Ничего грациозного не было в этих резких фигурах, в странных застылых позах, которые она принимала, порой на дюжину секунд кряду. Глаза ее стекленели, обретая сходство с глазами матери, выражение отрешенного покоя мгновенно изгоняло с лица обычную для него сосредоточенность. В конце концов, она надела через голову совершенно бесформенное, кроваво-красное платье. Оно нигде не льнуло к телу, разве что на талии, где его стягивал узел, завязанный на зеленом шнуре. Фуксия не столько носила свою одежду, сколько жила в ней.

Тем временем госпожа Шлакк успела приготовить у себя в комнатке завтрак для Фуксии и уже шла назад с подрагивавшим в руках нагруженным подносом. Едва она свернула за угол коридора, как ей пришлось с лязгом затормозить, ибо перед нею вдруг объявился доктор Прюнскваллор, также замерший на месте, чтобы избежать столкновения.

– Так-так-так-так-так, ха-ха-ха, да никак это милейшая госпожа Шлакк, ха-ха-ха, весьма, весьма, весьма драматично, – произнес Доктор, прихлопнув длинными ладонями перед своим подбородком, и высокий смех его отозвался поскрипываньем в деревянных потолках коридора. В каждом стеклышке его очков сидело по крохотному отражению нянюшки Шлакк.

В сущности говоря, старая нянька всегда относилась к доктору Прюнскваллору с неодобрением. Конечно, он был такой же частью Горменгаста, как сама Башня. Он не принадлежал к чужакам, но по какой-то причине казался госпоже Шлакк *неправильным*. Прежде всего, он, на ее взгляд, несколько не походил на Доктора, хотя почему именно не походил, она бы объяснить затруднилась. Она вообще не смогла бы сказать, что вызывает ее неодобрение в каждом особом случае. Нянюшка Шлакк и в лучшие-то ее минуты с трудом приводила свои мысли в порядок, а когда к ним припутывались эмоции, дело это становилось совершенно безнадежным. Она чувствовала, хоть никогда и не обдумывала этого чувства, что Доктор Прюнскваллор смотрит на нее свысока, а то и вышучивает неким непостижимым для нее образом. Задумываться об этом она никогда не задумывалась, а просто чуяла нутром.

Нянюшка уставилась на стоящего перед нею всклокоченного человека и первым делом подивилась, отчего это он никогда не причесывается, но тут же и устыдилась того, что позво-

лила себе подумать такое о господине благородного звания, и отвела глаза, и поднос задрожал в ее руках.

– Ха-ха-ха-ха-ха, дражайшая госпожа Шлакк, дайте-ка я подержу ваш поднос, ха-ха, покамест уста ваши смакуют плоды нашей беседы, а вы тем временем расскажете мне, что поделявали в последний месяц, если не больше. Почему это я вас не видел, нянюшка Шлакк? Почему уши мои не слышали шагов ваших на лестницах и гласа вашего в ночи, призывающего... призывающего...?

– Ее светлость больше во мне не нуждается, сударь, – сказала нянюшка Шлакк, укоризненно глядя на Доктора. – Меня, сударь, теперь держат все больше в Западном крыле.

– Так вот оно, значит, как? – сказал доктор Прюнскваллор, отбирая у нянюшки Шлакк нагруженный поднос и одновременно опускаясь вместе с ним на пол длинного коридора. Он присел на корточки, поставил поднос рядом с собой и поднял взгляд на старушку, испуганно всматривавшуюся в его плавающие за сильными стеклами глаза.

– Вас *держат* в Западном крыле? Вот оно как? – Доктор Прюнскваллор, словно бы впад в глубокую задумчивость, потер подбородок большим и указательным пальцами и многозначительно нахмурился. – Меня, драгоценная госпожа Шлакк, беспокоит слово «держат». Разве вы животное, госпожа Шлакк? Повторяю, разве вы животное?

Произнеся это, он наполовину привстал, вытянул шею и в третий раз повторил свой вопрос.

Бедная нянюшка Шлакк слишком перепугалась, чтобы суметь толком ему ответить.

Доктор опять опустился на корточки.

– Я сам отвечу на мой вопрос, госпожа Шлакк. Я знаю вас уже немалое время. Лет, наверное, десять, не правда ли? Верно, мы с вами никогда не вникали в бездны волхования, не рассуждали о смысле жизни, однако я знаю вас довольно, чтобы сказать, что наше с вами знакомство длится немалое время и что вы *не животное*. *Решительно* не животное. Ну-ка, присядьте ко мне на колено.

Нянюшка Шлакк, которую это предложение повергло в окончательный ужас, подняла ко рту костлявые ручки и втянула голову в плечи. Затем она испуганно оглядела коридор и уж совсем собралась удрать, как вдруг ощутила, что ее ухватили за коленки – без угрозы, но крепко, – и не успев сообразить, что происходит, оказалась сидящей на высоком костлявом колене Доктора.

– Вы *не* животное, – повторил доктор Прюнскваллор, – ведь так?

Старая няня повернула к Доктору морщинистое лицо и мелко-мелко покачала головой.

– Разумеется, нет. Ха-ха-ха-ха-ха, разумеется, нет. Но скажите же мне, *кто* вы?

Кулачок Нянюшки вновь прижался к губам, и в глазах ее вновь появился испуг.

– Я... я старая женщина, – сказала она.

– Вы совершенно поразительная старая женщина, – сказал Доктор, – и ежели я не ошибаюсь, вы окажетесь вскоре на редкость бесценной старой женщиной. О да, ха-ха-ха, о да, более чем бесценной старой женщиной, уверяю вас. (Последовала пауза.) Давно ли вы в последний раз видели ее светлость, Графиню? Надо полагать, очень давно.

– Да, да, – сказала нянюшка Шлакк, – очень давно. Много-много месяцев назад.

– Так я и думал, – сказал Доктор. – Ха-ха-ха, так я и думал, и думал весьма часто. И вы, стало быть, даже понятия не имеете, почему вы станете незаменимой?

О нет, сударь! – сказала нянюшка Шлакк, глядя на поднос с быстро остывавшим завтраком.

– Вы любите младенцев, драгоценнейшая моя госпожа Шлакк? – спросил Доктор, перенося бедняжку на другое свое согнутое под чрезвычайно острым углом колено и вытягивая освободившуюся ногу, чтобы дать ее передохнуть. – Приятны ли вам эти крохотные создания, если взять их как целое?

– Младенцев? – переспросила госпожа Шлакк с оживлением, которого в ней до этой минуты не наблюдалось. – Да я их просто съесть готова, миленьких моих, просто съесть, сударь!

– Вот именно, – произнес доктор Прюнскваллор, – вот именно, моя добрая женщина. Вы готовы их съесть. В чем вряд ли возникнет необходимость. Строго говоря, такой поступок был бы прямо губителен, дорогая моя госпожа Шлакк, и особенно в обстоятельствах, в кои я обязан вас посвятить. Вскоре на ваше попечение передадут младенца. Съесть его, дорогая нянюшка Шлакк, отнюдь не следует. Вам предстоит растить его, это верно, но начинать с того, что вы его проглотите, – это было бы лишним. Ведь вы проглотили бы, ха-ха-ха-ха, – проглотили бы Гроана.

Услышанная нянюшкой Шлакк новость понемногу просачивалась в ее разум и наконец глаза ее стали большими как никогда.

– Нет, о нет, сударь!

– Да, о да, сударь! – отозвался Доктор. – Хотя Графиня в последнее время запрещает вам появляться у нее, тем не менее, нянюшка Шлакк, вас волей-неволей восстановят, ха-ха-ха, восстановят в весьма важном звании. Сегодня, если я не ошибаюсь, мне предстоит принять новехонького Гроана. Вы помните, как я принимал у Графини леди Фуксию?

Нянюшку Шлакк вдруг затрясло, слеза скатилась по ее щеке, старушка зажала ладони между коленями, едва не утратив равновесия на своем до крайности ненадежном настиле.

– Я помню все, сударь, до последней малости – все-все. Кто бы мог подумать?

– Точно так, – перебил ее доктор Прюнскваллор. – Кто бы мог подумать. Однако мне пора, ха-ха-ха, придется ссадить вас, нянюшка Шлакк, с моей коленной чашечки, – но скажите-ка мне, неужто вы ничего не знали о положении, в котором пребывает ее светлость?

– Ах, сударь, – сказала старушка, кусая себя за кулачок и испуганно шаря взглядом по коридору. – Ничего! ничего! Никто мне ни о чем не рассказывает.

– И при этом взваливают на вас всю работу, – сказал доктор Прюнскваллор. – Впрочем, вам это без сомнения нравится. То есть решительно без какого-либо сомнения. Ведь так?

– Ах, сударь, новый младенец, спустя столько лет! Ах, я уже чувствую, как он пахнет!

– Хм? – удивился Доктор. – Ха-ха-ха, а вы, похоже уверены, что это будет он, а не она, дорогая моя госпожа Шлакк.

– О да, сударь, конечно *он*, сударь. Радость-то какая! И его отдадут *мне*, сударь? Правда, мне, никому другому?

– Другого выбора нет, – сказал Доктор с живостью, не вполне приличной господину из благородных, и улыбнулся, широко и бессмысленно. Тонкий нос его смотрел прямо на нянюшку Шлакк, копна седых волос отлепилась от стены. – А как там моя Фуксия? Что-нибудь подозревает?

– Ах нет, не подозревает. Совсем ничего не подозревает, сударь, благослови ее Господь. Она же редко выходит из своей комнаты, разве что по ночам, сударь. И ничего не знает, сударь, потому как ни с кем не разговаривает, только со мной.

Доктор, сняв нянюшку Шлакк с колена, встал.

– Весь Горменгаст ни о чем другом не говорит, а Западное крыло погружено во мрак. Весьма, весьма и весьма странно. Няня младенца вместе с его сестрой блуждают во тьме, ха-ха-ха. Но не надолго, не надолго. Клянусь всяческим просветлением, совсем не надолго!

– Сударь? – остановила нянюшка Шлакк Доктора, уже собравшегося уйти.

– Что? – спросил доктор Прюнскваллор, разглядывая свои длинные ногти. – Что, дорогая моя госпожа Шлакк? Только быстро.

– А-а – как *она*, сударь? Как ее светлость?

– Здорова, как бегемот, – ответил Прюнскваллор и тут же пропал за углом, и нянюшка Шлакк, которая с приоткрытым ртом и все еще вытаращенными глазами поднимала с полу

холодный поднос, услышала как шаги его, вприпрыжку, точно птичка, подвигающегося к спальне графини Гроанской, выбивают в далеком проходе изысканную дробь.

Пока госпожа Шлакк стучала в дверь Фуксии, сердце ее гулко колотилось в груди. Нянюшке Шлакк всегда требовалось изрядное время, чтобы усвоить следствия того, о чем ей рассказали, и сообщенное Доктором лишь теперь действовало на нее в полной мере. Снова, спустя столько лет, стать нянькой наследника дома Гроанов – снова омывать беспомощные ручки и ножки, отглаживать крохотные наряды, выбирать кормилицу в Наружных Жилищах! Снова стать абсолютным авторитетом во всем, что касается бесценного малютки, – все это навалилось теперь тяжким грузом болезненной гордости на ее быстро бившееся сердце.

Чувства эти до того ошеломили ее, что приколотую к двери записку она заметила, лишь постучав в дверь дважды. Старательно сощурясь, она различила, наконец, то, что Фуксия нацарапала своим неизменным угольным карандашом.

«Не могу ждать до судного дня – ты такая КОПУША!»

Госпожа Шлакк подергала дверную ручку, хоть и знала, что дверь заперта. Оставив поднос и яблоки на коврике под дверью, она засемила к себе, в комнату, где ей можно будет погрузиться в безмятежные грезы о будущем. Выходит, жизнь ее еще не закончилась.

ЧЕРДАК

Тем временем, обуреваемая нетерпением Фуксия, так и не дождавшись завтрака, залезла в буфет, где у нее хранился неприкосновенный запас съестного – половинка булки с тмином и немного вина из одуванчиков. Здесь также имелась коробочка с финиками, которые Флэй, где-то ими разжившийся, принес ей несколько недель назад, и две наморщенных груши. Последние были завернуты в тряпицу. Затем она зажгла свечу и поставила ее на пол у стены, затем, выгнув молодую, сильную спину, ухватилась за изножье кровати и оттащила ее от стены настолько, чтобы можно было просунуться между стеной и изножьем и отпереть дверь «посудного шкапа». Перегнувшись через спинку изголовья, она подхватила пакет с едой, подняла с пола свечу и, пригнув голову, протиснулась сквозь узкую щель прямо на нижние ступени лестницы, темной спиралью уходившей вверх. Закрыв за собою дверь, Фуксия задвинула засов, и трепет, который она всегда испытывала, запираясь в своих владениях, охватил ее, на миг пронизав дрожью с головы до ног.

И вот, со свечой, освещавшей ее лицо и три плывущих перед нею ступени, Фуксия начала подниматься в свое царство.

Пока она карабкалась в винтом свивавшуюся тьму, тело ее распирала обморочная тревога, какая одолевает человека в зеленом месяце апреле. Сердце девочки болезненно билось.

То была любовь, равная по мощи любви мужчины к женщине и проникающая столь же глубоко. Любовь мужчины или женщины к им принадлежащему миру. К миру их очага, в котором честно сгорают их жизни, – сгорают привольным огнем.

Любовь ныряльщика к обжитому им миру волнующегося света. К миру жемчугов, и нитей травы, и воздуха жизни в его груди. Рожденный для того, чтобы нырять в глубину, он составляет единое целое с каждым роем лимонно-зеленых рыб, с каждой цветастой губкой. И замирая на феерическом дне океана, ухватившись за вросший в песок остов кита, он становится совершенным и бесконечным. Пульс, сила, вселенная колышутся в его теле. Он пребывает в любви.

Любовь художника, стоящего в одиночестве, вглядываясь, вглядываясь в творимую им гигантскую, красочную поверхность. С холстов, что, прислонившись к стене, стоят вместе с ним в этой комнате, в него вглядываются набросанные на пробу, остановившиеся в росте фигуры, движущиеся от пола до потолка в еще не бывалом ритме. Перекрученные тюбики, свежая краска, выдавленная и размазанная по сухой, покрывшей его палитру. Пыль под мольбертом. Краска, присохшая к ручкам кистей. Белый, безмолвный свет северного неба. Окно, изумленно глазающее на него, пока он вдыхает свой мир. Свой мир: запах скипидара, в аренду взятая комната. Он придвигается к своему полурожденному детищу. Он пребывает в любви.

Жирная земля, пересыпающаяся, крошась, в пальцах пахаря. И как искатель жемчуга бормочет: «Я дома», – смутно продвигаясь в странном, водянистом свете; как художник шепчет: «Я дома», – на своем одиноком плоту, сбитом из досок пола; как медлительный землепашец на ниве... – так говорит с темнотой кружащая вдоль по лестнице Фуксия: «Я дома».

Вот это сродство свое с винтовой лестницей, с чердаком и лелеяла она, ведя правой ладонью по деревянной стене, карабкаясь вверх, встречая, наконец, как и ожидала, провисшую, податливую доску. Теперь она знала, что осталось лишь восемнадцать ступенек, что еще два поворота и – неописуемое, золотисто-серое, процеженное свечение чердака приветственно встретит ее.

Добравшись до верхней ступеньки, она привалилась к откатной трехфутовой дверце, похожей на дверцу хлева, оттянула засов и вошла в первое из трех помещений чердака.

Пробивавшееся сюда утреннее солнце сообщало разного рода предметам некое смутное устройство, но ни в малой мере не разгоняло тьмы. Тут и там тонкий луч пронизывал теплый, задумчивый сумрак, наполняясь неспешной пылью, кружащей, точно разреженная звездная твердь, в важном порядке.

Один из этих узких лучей осветил лоб и плечо Фуксии, другой извлек из ее платья румяный тон. Справа от нее стоял огромный, разрушающийся орган. Трубы его были поломаны, клавиши разболтались. Серые пауки, потратив десятилетия трудов, укутали фронт органа в кружевную шаль. Недоставало лишь духа инфанты, чтобы восстать из пыли и покрыть ею плечи и голову, как баснословнейшей из мантилий.

Глаза Фуксии едва различались во мраке, ибо свет, падавший ей на лоб, утоплял по контрасту лицо девочки в еще более темных тенях. Но глаза ее были спокойны. Этот странный покой сменил возбуждение, проснувшееся в них на лестнице. Девочка, замершая на верхних ступенях, словно бы обратилась в иное существо.

Этот угол чердака был наиболее темным. Летом свет ухитрялся пробиться сквозь трещины в покоробленном дереве, между сместившимися камнями, но косые лучи его, казалось, шли не так прямо, как в зале побольше или в галерее, уходившей отсюда вправо. Третья комната, маленькая мансарда, с ее лесенкой, шедшей из галереи вверх, с ее перильчатой верандой, освещалась лучше всего, поскольку могла похвастаться окошком со ставнями, которые, открываясь, обнаруживали пространство кровель, башен и крепостных стен, большим полукругом лежавших внизу. Между высокими бастионами виднелась, сотнею футов ниже, часть прямоугольного двора, на котором переходивший его человек казался не больше наперстка.

Сделав три шага к первой из галерей, Фуксия остановилась, чтобы перевязать над коленом подвязку. Смутные стропила нависали над ее головой и, распрямляясь, она увидела их и ощутила прилив неосознанной любви. Это обширное помещение заполнял всякий хлам. Очень длинное и высокое, оно казалось меньшим, нежели было на деле, ибо фантастические груды всего, что только можно вообразить, от огромного органа до оторванной, раскрашенной головы игрушечного льва, которым, видимо, тешился давным-давно кто-то из предков Фуксии, заполняли его, наползая от каждой стены, пока не осталась свободной лишь узкая аллея, ведущая в следующий раздел чердака. Высокий, узкий проход этот, извиваясь, добирался до середины первой галереи, где резко сворачивал под острым углом направо. То, что этот каньон был набит всяким хламом, вовсе не означало, будто Фуксии он не интересен, будто она пользовалась им лишь как проходом. О нет, именно в нем провела она немало долгих вечеров, глубоко заползая в его пещеры и обнаружив немало странных укрытий среди разрозненных мощей прошлого. Она знала пути, ведущие к центру того, что представлялось курганами мебели, ящиков, музыкальных инструментов и игрушек, бумажных змеев, картин, бамбуковых доспехов и шлемов, флагов и прочих реликтов разного рода, знала, как знает индеец свою зеленую, потайную тропу. На расстоянии вытянутой руки от нее шкура, снятая вместе с головой с бабуина, пыльно свисала с разломанного барабана, воздымавшегося за тусклыми завалами чердачной дребедени. Сколь бы огромными и неприступными ни выглядели эти фантастические курганы в недвижном и теплом полусвете, Фуксия могла, если бы пожелала, неловко, но очень быстро углубиться в них, добраться до самой их сердцевины и, в одно-два мгновения совершенно исчезнув из виду, прилечь на древний диванчик, где ее поджидала книжка с картинками.

Этим утром Фуксия собиралась навестить третью из своих комнат и потому прошла каньоном и поднырнула под туго набитую ногу жирафа, которая, поймав луч пятнистого света, торчала поперек пути, образуя подобие низкой притолоки как раз перед самым поворотом. Миновав этот изгиб, Фуксия увидела то, что и ожидала увидеть. В двенадцати футах от нее спускались ко второму чердаку деревянные ступени. Стропила над ступеньками поко-

робились и обвисли, позволяя различить лишь часть лежавшей за ними залы. Но и видимое пространство пустого пола позволяло судить о целом. Она сошла по ступеням. Простор разодранных туч, небо, пустыня, покинутый берег – вот что открылось перед ней.

Первый шаг по пустым полам был для нее выходом в пространство. В простор, отдаленное представление о котором дают пронзительные крики кондоров, и он различается орлом сквозь кровь, что застит ему глаза.

Гулкий ритм бился в безмолвии этих мест. Залы, башни, покои Горменгаста остались на другой планете. Собрав в кулак плотную прядь волос, Фуксия оттянула голову назад, сердце ее колотилось, отдаваясь звоном в теле с головы и до пят, крохотные бриллианты сверкали во внутренних уголках ее глаз.

Какими только персонажами ни населяла Фуксия заброшенную сцену пустоты! Именно здесь она наблюдала людей, выдуманных ею неистовых существ, вышагивавших из угла в угол, застывших, точно химеры, или летевших по воздуху, как серафимы с горящими крыльями, танцующих, сражающихся, смеющихся, плачущих. То был чердак ее фантазий, здесь могла она следить, как по пыльным полам приближаются к ней или уходят прочь внутренние ее собеседники.

Покрепче прижав к себе завернутые в ткань съестные припасы, Фуксия направилась, под монотонное эхо своих же шагов, к приставной лесенке, что поднималась к балкону на дальнем конце пустой залы. Она взбиралась по лестнице, перескакивая сразу двумя ногами со ступеньки на ступеньку, поскольку трудно помогать себе руками, держа подмышками еду на весь день и бутылку. Здесь некому было глядеть на ее прямую, крепкую спину, на плечи, на нескладные, неграциозные движения ног под багряным платьем, на длинные, спутанные, чернильно-черные волосы. Добравшись до середины, она подняла узел над головой, затолкала его на балкон и, вскарабкавшись следом, замерла над огромной, раскинувшейся под нею сценой, пустой, как забытое сердце.

Ладони ее лежали на деревянных перилах чердачной веранды, она смотрела вниз и сознавала, что может в единый миг вызвать к жизни пятерку главных персонажей своих фантазий. Тех, за кем она наблюдала отсюда так часто, словно они и вправду ходили там, внизу. Поначалу было не так-то легко понять их или объяснить им, что следует делать. Теперь это не составляло труда – во всяком случае, для них не составляло труда разыгрывать сцены, которые она уже множество раз видела в их исполнении. Один из них, Лепреккон, приползал сюда по стропилам и, хихикая, плюхался на пол, поднимая облако пыли, а после кланялся Фуксии и отворачивался, отыскивая взглядом свой набитый сверкающим золотом бочонок. Человек Дождя всегда приходил, свесив голову и сцепив за спиной руки, ему довольно было чуть приподнять веки, чтобы приструнить тигра, которого он вел за собой на цепи.

И сами они, и драмы, в которых они принимали участие, таились сейчас в зале, оставшемся у нее за спиной, но Фуксия прошла мимо кресла с высокой спинкой, в котором обычно сживалась на краю веранды, аккуратно притворила за собой висевшую на одной петле дверь и очутилась в третьем из трех помещений чердака.

Она положила узел на стол в углу, подошла к окну и тычком растворила обе ставни. Чулки опять сползли под колени, пришлось заново стягивать узлами подвязки на бедрах. В этой комнате она обычно думала вслух. Спорила с собой. Глядела в окошко на крыши замка и примыкающих к нему строений, наслаждалась вкусом одиночества.

– Я одна, – сказала она, уперевши локти в подоконник и уложив подбородок на руки. – Я совершенно одна, как мне и нравится. Теперь я могу подумать, потому что мне здесь не на кого сердиться. Не то что в моей комнате. И некому указывать мне, что я должна делать, потому что я – Госпожа. Нет и нет. Здесь я делаю то, что нравится мне. Фуксии здесь хорошо. И никто из них не знает, куда я подевалась. Флэй не знает. Отец не знает. Мать не знает. Никто не знает. Няня и та не знает. Только я. Я одна знаю, куда подевалась. Сюда, вот куда.

Вверх по лестнице, потом на мой склад. А из склада в мою театральную комнату. А перейдя театральную, по лесенке на веранду. И оттуда через дверь на мой секретный чердак. Вот я и здесь. Теперь здесь. Я была здесь сто раз, но это все в прошлом. А сейчас настоящее. Я гляжу на крыши настоящего, я опираюсь на подоконник настоящего, а после, когда я состарюсь, я буду опираться на этот подоконник опять. На веки вечные... А теперь я устроюсь поудобнее и позавтракаю, – продолжала она разговаривать с собой, но еще не успев отвернуться от окна, уловила быстрыми глазами необычно большое скопление людей в одном из маленьких четырехугольных дворов далеко внизу, людей, принадлежавших, как ей с трудом удалось разобрать, к кухонной службе. Слишком привыкшая к тому, что в этот утренний час панорама внизу всегда остается пустынной, челядь занята по всему замку исполнением разнообразных своих обязанностей, Фуксия вновь резко повернулась к окну и стала вглядываться вниз с подозрительностью, почти со страхом. Почему чувство, что случилось нечто непоправимое, так быстро охватило ее? Для чужака ничего неуместного и необычного не было в том, что сотнями футов ниже, в залитом солнцем каменном двореке собралась небольшая толпа, но Фуксия, рожденная и возвращенная в тисках железного ритуала Горменгаста, сознавала – начинается нечто неслыханное. Она смотрела вниз, а людей там становилось все больше. Этого хватило, чтобы уничтожить ее прежнее настроение, заменив его тревогой и гневом.

– Что-то случилось, – сказала она, – что-то, о чем мне никто не сказал. Никто не сказал. Терпеть их не могу. Всех до единого. Что они там делают внизу, почему кишат, точно муравьи? Почему не работают, как им положено?

Она отвернулась от окна и оглядела комнату.

Все изменилось. Фуксия взяла грушу и рассеянно надкусила ее. Она собиралась посвятить утро размышлениям, ну, может быть, разыграть на пустом чердаке пьесу-другую, перед тем как спуститься вниз и потребовать у нянюшки Шлакк чаю и чего-нибудь поосновательнее к нему. Однако в толпе, собравшейся внизу, таилось какое-то зловещее предзнаменование. День был испорчен.



Фуксия обвела взглядом стены своей комнаты. Их украшали картины, которые она выбрала из многих дюжин полотен, отыскавшихся среди чердачного хлама. Одна, занимавшая всю стену, изображала колоссальный горный вид с дорогой, обвивающей, точно змея, чрезвычайно внушительного вида утес и забитой двумя армиями – одной в желтых мундирах, а другой, с боем наступающей снизу, в лиловых. Картина эта, казавшаяся освещенной факельным светом, всегда наполняла Фуксию восторженным трепетом, однако сегодня девочка скользнула по ней безразличным взглядом. Три другие стены с пятнадцатью полот-

нами на них выглядели не так эффектно. Более всех прочих ей нравились: голова ягуара, портрет двадцать второго графа Гроанского с совершенно белыми волосами и лицом, как бы дымчатым по причине чрезмерности покрывавшей его татуировки, и группа детей в розовом с белым муслине, играющих с гадюкой. Сотни других поясных и полных портретов предков Фуксия так и оставила среди хлама. В картинах ей нравилась неожиданность изображаемого предмета. Ее, похоже, охватывало наслаждение, когда художник сообщал ей нечто новое и невиданное. Такое, о чем сама она никогда прежде не думала.

Огромный перекрученный корень, притащенный из лесов, покрывавших Гору Горменгаст, стоял посреди комнаты. Он был отшлифован до редкостного блеска, каждая морщинка его тускло мерцала. Фуксия плюхнулась на самую импозантную в комнате вещь – на исполненную поблекшего великолепия и учтивости очертаний козетку, на которой угловатое тело Фуксии, когда она вот так полуприлегала, раскидывалось с неуступчивым неудобством. В глазах Фуксии, приобретших, когда она поднялась на чердак, столь чуждое им выражение покоя, снова затлеяла привычная ярость. Они шарили по комнате словно бы в тщетных поисках места, на котором можно спокойно остановиться, но ни фантастический корень, ни простоватый узор ковра на полу не способны были их удержать.

– Все неправильно. Все. Все, – сказала Фуксия. Она опять подошла к окну и вглядывалась в людей, собравшихся во дворе. Те уже целиком заполнили все видимое пространство каменного квадрата. Налево, сквозь один из аркбутанов открывался вид на четыре дальних прохода в той части Горменгаста, которую населяли беднейшие его обитатели. И эти проходы также испещрились сегодня людскими скопищами, и Фуксия убедила себя, что слышит далекие, возносящиеся к небесам голоса. Не то чтобы она питала отчетливый интерес к «событиям» или празднествам, которые могли породить бурлящее внизу волнение, но этим утром девочка остро ощущала, что происходит нечто, в чем ей поневоле придется участвовать.

Большая книга со стихами и красочными картинками лежала на столе. Она всегда была готова открыться и поглотить внимание Фуксии. Девочка часто перелистывала ее, читая стихи низким, театральным голосом. И в это утро, она склонилась над книгой и принялась беспокойно листать ее страницы. Отыскав любимое стихотворение, Фуксия остановилась и медленно прочитала его, но мысли девочки витали далеко отсюда.

БЕСПУТНАЯ ПЛЮШКА

Беспутная плюшка бездумно плыла
По бестолковым волнам.
А может быть, плюшка безумно плыла,
В раздрай, охмуренье и срам.
Несвежая, очень несвежая,
Плыла, извиваясь, как рысь,
И рыбин волна невежливая
Швыряла в лиловую высь.

Вода голубая раздольна, светла,
Мерлузы в ней – хоть завались,
И всякая рыба довольна и зла,
Взмывая в лиловую высь.

По ряби рябой, по высоким валам

Плывет же себе, воззри,
А следом – не трожь – отточенный нож,
Целит в цукаты внутри.
Что рыба-пила, острей, чем игла,
Блистательный, как фонари.
Беспутная плюшка в три силы гребла,
И с нею цукаты внутри.

Вода голубая раздольна, светла,
Мерлузы в ней – хоть завались, —
И всякая рыба довольна и зла,
Взмывая в лиловую высь.

За мыс Эстетический, прямо на Ост,
Где котик мурлычет морской,
С улыбкой критической, лижет свой хвост
И чешет плавник меховой,
Крича ему «Брысь!», в лиловую высь,
Беспутная плюшка и нож,
Взмывают, и он ей вдогон: Берегись!
Невеста моя, не уйдешь!

И крошки в волну уходят ко дну,
И плюшкино сердце стучит,
А путь недалек – уж чуткий клинок
Учуял любовь в ночи;
В рассеянный свет, мерлузам вослед
Взмывают крошки, и нож
В удушливом воздухе чувствует след,
Что чертит любовная дрожь⁸.

Заключительную строфу Фуксия прочла уже спеша, не воспринимая ее смысла. Машинально произнося последнюю строчку, она обнаружила, что идет к двери. Узел ее так и остался лежать на столе, развернутый и не тронутый, если не считать груши. Она выскочила на балкон, спустилась по лесенке на пустой чердак и через несколько мгновений достигла последних ступеней, ведущих в заваленную барахлом галерею. И пока она спускалась спиральной лестницей, одна и та же мысль вертелась в ее голове.

«Что они сделали? Что они сделали?» В этом безудержно падающем настроении она влетела в свою спальню и забежав в угол, рванула звонковый шнурок так, точно хотела выдрать его из потолка.

Несколько секунд спустя нянюшка Шлакк уже подбегала к ее двери, вразлад шаркая шлепанцами по доскам пола. Фуксия открыла ей дверь, и едва бедная старая голова показалась в проеме, закричала:

– Что происходит, няня, что там происходит? Говори сейчас же, не то я тебя разлюблю! Говори, говори!

– Тише, проказница моя, тише, – сказала госпожа Шлакк. – Что ты так разволновалась, надо же! Ох, бедное мое сердце, сведешь ты меня в могилу.

⁸ Здесь и далее стихи в переводе Александры Глебовской.

– Ты должна сказать мне, няня. Сейчас! сейчас! или я тебя стукну! – крикнула Фуксия.

Начавшись с пустых подозрений, страхи Фуксии все росли и росли, доведя ее до того, что сейчас, убежденная в их основательности все обостряющимся ощущением беды, она и вправду готова была ударить свою старую няню, которую любила отчаянно. Нянюшка Шлакк поймала руку Фуксии и крепко зажала ее восемью своими старыми пальчиками.

– У тебя теперь маленький братец, голубка моя. Вот так сюрприз, ну, успокойся; маленький братец. Совсем такой как ты, нескладная моя душечка, – взял да и родился.

– Нет! – завопила Фуксия и кровь прилила к ее щекам. – Нет! нет! Он мне не нужен! О нет, нет, нет! Не хочу! Не хочу! Этого *не должно* быть, *не должно!*

И бросившись на пол, Фуксия залилась слезами.

«ГОСПОЖА ШЛАКК ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ»

Вот эти-то, стало быть, люди – лорд Сепулькревий, графиня Гертруда, их старшая дочь Фуксия, доктор Прюнскваллор, господин Ротткодд, Флэй, Свелтер, нянюшка Шлакк, Стирпайк и Саурдуст, – о занятиях коих в день пришествия Титуса мы здесь поведали, видимо, и определили атмосферу, в которой ему выпало появиться на свет.

В начальный год своей жизни Титус оставался на попечении нянюшки Шлакк, которая гордо несла это огромное бремя на своих худеньких, согбленных плечах. В первую половину его ранней поры дитяти пришлось пережить лишь две важные церемонии, хоть относительно них Титус и пребывал в счастливом неведении, – а именно, крещение и торжественный завтрак в первую его годовщину. Нужно ли говорить, что для госпожи Шлакк каждый день знаменовался множеством важных событий, в такой полноте поглотило ее воспитание Титуса.

В памятный вечер его рождения она прошла узкой каменной дорожкой, тянувшейся между акаций, и спустилась с холма к калитке в крепостной стене, откуда было уже рукой подать до самого средостения глинобитных лачуг. Пока она семеняла дорожкой, солнце садилось за Гору Горменгаст, в топи ясно-шафранового света, и тень Нянюшки семеняла пообок, между стволами акаций. Она редко осмеливалась выйти из замка наружу и не без трепета открывала неподатливую, тяжелую крышку стоявшего в ее комнате сундука, чтобы извлечь из-под холмика нафталина свою лучшую шляпку. Шляпка была чернящая, однако высокая тулья ее оживлялась хрупкой гроздкой стеклянных виноградин. Четыре или пять из них треснули, но это было почти незаметно.

Нянюшка Шлакк подняла шляпку на уровень плеч и, чуть отворотясь, искоса оглядела ее, прежде чем сдуть с виноградин умозрительную пыль. Увидев, что от ее дыхания виноградины помутнели, она подобрала нижнюю юбку и, склонившись над шляпой, быстро протерла каждую из ягод по очереди.

Затем она, чуть ли не крадучись, приблизилась к ведущей в коридор двери и приложила к ней ухо. Ничего она там не услышала, впрочем, дело все было в том, что когда няня Шлакк ловила себя на совершении чего-то неподобающего, совесть ее так мучила, что она принималась озираться вокруг, широко раскрывая обведенные красной каемкой глаза и покачивая головой, или же, – если она, как сейчас, была в этот миг одна, – подбегала к двери и прислушивалась.

Совершенно удостоверясь, что никогошеньки за дверью нету, госпожа Шлакк рывком растворила ее, оглядела пустой коридор и с обновленной уверенностью вернулась к исполнению своей задачи. В этот раз одна только мысль о том, как она – в девять-то часов вечера – наденет лучшую свою шляпку, покинет замок и направится по аллее акаций на северо-запад, одна только эта мысль и погнала ее к двери, словно старушка заподозрила, будто кто-то притаился в коридоре и вслушивается в то, что творится в ее голове. Теперь Нянюшка на цыпочках воротилась к кровати и нахлобучила черную бархатную шляпку, прибавив себе четырнадцать дюймов роста. После этого старушка вышла из комнаты и лестница, по двум маршам которой она спускалась, напугала ее своей пустотой.

Свернув под большим порталом в Западное крыло, Нянюшка вдруг вспомнила, что сама Графиня приказала ей отправиться в этот необычный поход, и почувствовала себя немного уверенней, однако сколь бы повелительными полномочиями ни была она облечена, нечто куда более глубокое тревожило ее, нечто, основанное на невысказанной, но неколебимой традиции замка. Она-то и внушала госпоже Шлакк чувство неправильности ее поступков. С другой стороны, найти для младенца кормилицу необходимо, и логичная безотлагательность этого соображения подталкивала старушку вперед. Покидая комнату, она

прихватила пару черных шерстяных перчаток. Конечно, вечер стоял тихий, теплый, летний, а все же без перчаток ей было не обойтись – перчатки добавляли нянюшке Шлакк решимости.

Справа от нее силуэты акаций изрезали склон горы замысловатым узором, слева акации тускло тлели, как бы озаренные неким подземным светом. Тени стволов полосовали дорожку, словно смутную шкуру зебры. Крохотная фигурка госпожи Шлакк двигалась по аллее взметенной, нависающей темной листвы, пробуждая в окрестных скалах тихое эхо, ибо каблучки старушки отбивали по камню быстрый, неровный такт.

Аллея была длинная, так что, когда госпожа Шлакк добралась до северного ее конца, навстречу ей уже заструился холодный приветственный свет встающей луны. Наружная стена Горменгаста нависла над нею внезапно. Няня нырнула под арку.

Госпожа Шлакк знала, что в этот час Внешний Люд ужинает. Пока она торопливо топотала, приближаясь к нему, воспоминание о другом таком же, очень похожем походе нашло, наконец, дорогу в ее сознание. В тот раз ее послали, чтобы сделать подобный же выбор для Фуксии. Погода тогда была бурная, голос ее, вспомнила няня, не смог одолеть ветра, Внешние не поняли ее и вообразили, будто скончался лорд Гроан.

Только три раза с тех пор побывала она в обиталище Внешних, и то потому лишь, что ей приходилось выводить туда Фуксию для долгих прогулок, на одной из которых девочка настояла, заявив, что ей все равно, хлещет ли дождь или печет солнце.

Пора дальних прогулок для госпожи Шлакк давно миновала, но в одном из тех трех случаев, ей довелось проходить мимо глиняных хижин как раз когда Внешние садились за поздний ужин. Нянюшка знала, что они всегда ужинают под открытым небом, за столами, стоявшими в четыре ряда на скучной, сероватой земле. Только несколькими кактусовыми деревьями, припомнила Нянюшка, и удалось укорениться в этой пыли.

Спускаясь пологим, поросшим редкой травой склоном, что тянулся от арки в стене и обрывался в пыли, из которой торчали лачуги, она подняла глаза от тропы и вдруг увидела одно из этих деревьев.

Пятнадцать лет это бездна времени, в которую памяти старой женщины нырнуть намного труднее, нежели в воды детства, и все же, увидев кактусовое дерево, госпожа Шлакк ясно, во всех подробностях вспомнила, как в день, когда родилась Фуксия, она замерла, уставясь на это гигантское, изрытое рубцами чудовище.

Вот оно снова, чешуйчатый ствол его расщепляется на четверку стремящихся вверх отростков, напоминающих лапы гигантского серого шандала, утыканные шипами, каждый из которых груб и огромен, как рог носорога. Ни единый огненный цветок не оживлял ныне черной бесцветности дерева, хотя когда-то давно оно славилось их взрывчатой трехчасовой красотой. Земля за деревом дыбилась унылым холмом, и лишь вскарабкавшись на него, госпожа Шлакк увидела Внешних, восседающих вдоль длинных столов. За ними серым роем теснились, достигая подножья стены, глинобитные хижины. Четыре-пять кактусов росли меж вечерних столов, погружая их в тень.

Величиною и тем, как они выбрасывали высоко вверх неопрятные ветви, кактусы эти походили на тот, который госпожа Шлакк увидела первым, и очертания их, пока она приближалась, мрели, ловя последние отсветы солнца.

Ряд столов, ближайший к внешней стене, отводился старейшинам, дедам и немощным. Слева от них помещались замужние женщины с детьми, пребывающими на их попечении.

Остальные два ряда заполняли мужчины и отроки. Девушки в возрасте от двенадцати до двадцати трех кормились в отдельном низком глинобитном строении, однако некое их число назначалось каждодневно в услужение старикам, восседавшим за установленными под самой стеной столами.

Дальше земля опускалась в иссохшую, пустую долину, где стояли жилища, так что шаг за шагом приближаясь к людям за столами, няня видела их на фоне кривых глиняных

крыш, ибо стены хижин скрывались изгибом земли. Тоскливое было зрелище. После пышных теней аллеи акаций нянюшка Шлакк очутилась внезапно в мире сухом и бесплодном. Она увидела грубые куски белых корней ярла и чаши с терновым вином, стоявшие пред едоками. Длинные трубчатые ярловые корни, каждый день выкапываемые неподалеку, лежали на столах, разрезанные на дюжины узких цилиндров. Это, вспомнила няня, обычная их еда.

При виде уходящих вдаль белых корней, каждый кусок которых отбрасывал собственную тень, она вдруг взволновалась, припомнив, что ее положение в обществе гораздо выше занимаемого нищими обитателями глиняных лачуг. Правда, они умеют делать красивые изваяния, но живут-то они не *внутри* стен Горменгаста. Нянюшка Шлакк, подходя к ближайшему столу, подтянула перчатки и, напучив морщинистый ротик, прогладила по отдельности каждый палец.

Внешние приметили няню еще когда шляпка ее появилась над иссохшим челом холма, и теперь каждая голова повернулась, каждый глаз впился в нее. Матери замерли, некоторые – не донеся ложек до детских ртов.

Редко случалось, чтобы «крепостные», как здесь называли всякого, выходившего из-за стен, появлялись у них за ужином. Вот они и уставились на Нянюшку, безмолвные и неподвижные.

Госпожа Шлакк остановилась. Лунный свет сверкал на стеклянных ее виноградинах.

Древний, похожий на пророка старец встал и приблизился к ней. Подойдя, он замер, и молча стоял, пока престарелая женщина, ожидавшая, когда он остановится, не поднялась с помощью окружающих на ноги и не последовала за ним, также подойдя к госпоже Шлакк и молча встав рядом со стариком. Следом от стола матерей были высланы двое удивительной красоты пострелят годочков пяти-шести. И эти, достигнув госпожи Шлакк, замерли, а после, повторяя движения стариков, подняли руки, соединили запястья и, чашками сложив ладони, склонили головы.

Они простояли в этих позах несколько мгновений, затем старик поднял голову и разлепил долгие, огрубелые губы.

– Горменгаст, – изрек он, и голос его был подобен рокоту валунов, катящихся по далеким долинам, и интонация, с которой он произнес «Горменгаст», свидетельствовала о глубочайшем почтении. Таково было приветствие Внешних всякому, кто выходит из Замка, а после его произнесения человек, к которому с ним обращаются, был обязан ответить: «Блистательные Резчики». Вслед за чем можно было продолжить разговор. Этот ответ, сколь ни глухи были Внешние к лести, полагая самих себя высшими судьями в том, что касается их трудов, и оставаясь безразличными к интересу, который проявляет к ним весь прочий мир, был своего рода паллиативом, в том смысле, что он поднимал их на уровень, к которому, как Резчики ощущали нутром, они и принадлежали по праву – на уровень духовный, раз уже не мирской и не наследственный. С самого начала он устанавливал некий род взаимного согласия. То был мастерский ход, проявление высшей тактичности со стороны семнадцатого графа Гроанского, сотни лет назад включившего этот догмат в ритуалы Замка.

Сами же Резчики никакой решительно блистательностью не отличались. Одеты все они были в одинаковое темно-серое платье, а препоясаны грубым лыком, срезаемым с корневищ ярла, внутренней белой и жесткой плотью которых они питались. Ничего блистательного не было и в обликах их, вот разве одно – свет в глазах малых детей. Да собственно, и в глазах юношей и дев, пока не достигали они девятнадцати, самое большее двадцати лет. Молодежь до того не походила на людей постарше, даже на двадцатипятилетних, что трудно было поверить в ее принадлежность к тому же самому племени. Трагическая причина этого состояла в том, что по достижении молодыми людьми телесной зрелости, миловидность словно бы осыпалась с них и они иссыхали, точно цветы, пережившие недолгие часы силы и блеска.

Людей среднего возраста среди Резчиков не встречалось. Матери, кроме тех, что родили детей, еще не выйдя из отрочества, выглядели такими же старыми, как собственные их родители.

И при этом они не умирали, как можно было б подумать, раньше, чем обычные люди. Напротив, долгие ряды старческих лиц за тремя ближними к стене столами внушали мысль, что они отличаются редкостным долгожительством.

Только в их детях и чуялся свет – в глазах, в сиянии волос – и другой, особый, в движениях и голосах. Что-то *ненатуральное* присутствовало в этом блистании. То был не благодетельный свет привольного пламени, но чахоточный взблеск, который молния вдруг сообщает в полночь древесным ветвям; внезапный посверк во мраке осколка стекла, обращенного светом факела в призрака.

Но и это неестественное свечение умирало в юношах и девушках, достигших девятнадцатилетнего возраста; вместе с красотой их черт уходила и их лучезарность. Только в *глуби* взрослеющих тел Внешнего Люда сохранялось подобие света, а если не света, так пыла – пыла творческого беспокойства. Таковы они были, Блистательные Резчики.

Госпожа Шлакк подняла костлявую лапку как смогла высоко. Четверо, стоявшие перед нею, приняли позы не столь формальные, дети разглядывали ее, обняв друг друга за плечи худыми, чумазыми ручками.

– Я пришла, – возвестила старушка пролетевшим над столами тонким, как у кроншнепа, голоском, – я пришла, – хоть и поздно уже, – чтобы сообщить вам чудесную новость.

Она поправила шляпку, попутно с великим удовольствием ощупав сияющую массу стеклянных Ягодин.

Старец повернулся к столам и голос его прокатился меж ними.

– Она пришла, чтобы сообщить нам чудесную новость, – и старуха повторила за ним, как испорченное, визгливое эхо:

– ...чудесную новость.

– Да-да, чудесную новость для вас, – продолжала старая нянька. – Вы все будете ею очень горды, я в этом совершенно уверена.

Теперь госпожа Шлакк была, пожалуй, даже довольна собой. Если ее и посещали остатки прежней нервозности, то она лишь плотнее сжимала ладошки в перчатках.

– Мы все так горды. Все-все. Весь Замок (тут в ее голосе проступило некоторое тщеславие) очень, очень доволен, а когда я вам скажу, что случилось, вы тоже будете счастливы, о да, я в этом уверена. И кроме того, я ведь знаю, вы *зависите* от Замка.

Особой тактичностью госпожа Шлакк отроду не отличалась.

– Вам ведь каждое утро кидают со стен еду, верно? – Она поджала губы и на миг приоткрыла, набирая побольше воздуха В грудь.

Один из молодых людей чуть приподнял густые черные брови и сплюнул.

– Выходит, в Замке все время о вас заботятся. Каждый день заботятся, разве не так? Вот почему вы будете счастливы, когда я сообщу вам чудесную новость, которую пришла сообщить.

На миг лицо госпожи Шлакк озарилось довольной улыбкой, но сразу за тем ей, несмотря на ее высшее знание, отчего-то стало не по себе и она быстро, по-птичьи, обежала взглядом лица Внешних, одно за другим. Затем, важно откинув назад сухонькую головку, со всей строгостью, какую сумела изобразить, уставилась на стоящего перед нею мальчишку, и тот ответил ей ослепительной улыбкой. Волосы длинными прядями спадали ему на плечи. Между зубов, когда он улыбнулся, блеснул белый огрызок ярлового корня.

Госпожа Шлакк отвела от него глаза и два-три раза резко хлопнула в ладоши, словно бы требуя тишины, хотя ниоткуда не доносилось ни звука. Тут ее охватило вдруг столь жгу-

чье желание вновь оказаться в замке, в своей комнате, что она, ничего не успев обдумать, выпалила:

– Родился новый малютка Гроан, маленький мальчик. Маленький мальчик Крови Гроанов. Конечно, ходить за ним поручено мне и потому мне нужна кормилица, *немедленно*. Мне *немедленно* требуется кормилица, я отведу ее в замок. Ну вот! Я вам все и сказала.

Старухи, обменявшись взглядами, пошли к своим хижинам. Назад они воротились с крохотными булочками и бутылками тернового вина. Тем временем мужчины образовали большой круг и семьдесят семь раз произнесли слово «Горменгаст». Госпожа Шлакк ждала, глядя на затеявших какую-то игру детей, и скоро к ней подошла женщина, сказавшая, что некоторое время назад родила младенца, прожившего всего несколько часов, но что чувствует она себя достаточно хорошо и пойдет с госпожой Шлакк в замок. Ей было лет, наверное, двадцать, она отличалась крепким сложением, но трагический распад красоты уже начался для нее, хотя в глазах еще сохранялся последний свет. Она принесла с собой корзинку и, похоже, не ожидала отказа в ответ на свое предложение. Нянюшка Шлакк вознамерилась было задать ей несколько вопросов, она чувствовала, что так будет правильнее, но тут один из Внешних, уложив в корзинку вино и булочки, мягко взял ее за руку и старая нянька обнаружила, что уже шагает в сторону Великой Стены. Она взглянула на шедшую рядом молодую женщину, спросила себя: так ли уж верен сделанный ею выбор, но сообразив, что никакого выбора вовсе и не было, замедлила шаг и нервно оглянулась через плечо.

КИДА

Бесцветные кактусовые деревья стояли между длинных столов. Внешние уже расселись по местам. Госпожа Шлакк их больше не интересовала. Тени отсутствовали, лишь по одной, маленькой, лежало под каждым предметом. Луна застряла в зените. Спутница госпожи Шлакк безмолвствовала. Походка ее и молчание оставляли впечатление некоей силы. В темном, доходящем до щиколок платье, препоясанном лыком ярлового корня, голоногая и босая, с лицом, еще сохранившем краски ее закатного дня, она составляла странный контраст маленькой нянюшке Шлакк с ее торопливой семенящей походкой, темным атласным платьем, черными перчатками и монументальной шляпкой со стеклянными виноградинами. Перед тем как они поднялись иссохшим холмом к арочному проходу в стене, их настиг внезапный горловой вскрик, какой издает удушаемый человек, – у старушки от него кровь застыла в жилах, и она, вцепившись, точно ребенок, в сильную ладонь своей спутницы, оглянулась на столы. Расстояние было уже слишком большим, чтобы слабые глаза ее могли что-нибудь различить, однако она вроде бы углядела несколько стоящих фигур и еще одну, присевшую, как перед прыжком.

Спутница старушки, спокойно обернувшись на звук, похоже, осталась к происходящему равнодушной и лишь покрепче сжала руку старухи, увлекая ее к каменной калитке.

– Пустое, – вот и все, что услышала от нее госпожа Шлакк, и ко времени, когда они добрались до аллеи акаций, сердце старенькой няньки билось совсем уже ровно.

При повороте с длинной дорожки к portalу Горменгаста, сквозь который около часу назад нянюшка Шлакк столь скрытно выбралась под вечеряющее небо, старушка взглянула на свою спутницу и, чуть приметно пожав плечами, постаралась сообщить своему лицу выражение насмешливой важности.

– Имя? Твое имя? – спросила она.

– Кида.

– Так вот, Кида, дорогая, иди за мной, я отведу тебя к малышу. Я сама тебе его покажу. Он у окна в *моей* комнате. – Голос Нянюшки вдруг зазвучал доверительно, почти трогательно. – Комната у меня не очень большая, – сказала она, – но я всегда в ней жила. А другие мне и не нравятся, – не очень искренне прибавила она. – И до леди Фуксии оттуда недалеко.

– Может, и я ее увижу, – помолчав, откликнулась девушка.

Нянюшка вдруг остановилась прямо посреди лестницы.

– Вот это я *не знаю*, – сказала она, – ох, нет, в этом я совсем не уверена. Она такая странная. Я никогда не знаю, что она может выкинуть.

– Выкинуть? – переспросила Кида. – О чем вы?

– О маленьком Титусе, – глаза Нянюшки тревожно забегали. – Нет, не знаю, что она сделает. Такая несносная – самый тяжелый человек во всем замке, – когда на нее находит.

– Но чего вы боитесь? – спросила Кида.

– Я вижу, как она его ненавидит. Ей хочется быть единственной, ну, ты понимаешь. Любит воображать себя королевой и как все остальные умрут, и никто больше не станет ей приказывать сделать то или это. Она мне сказала, дорогая, что все тут сожжет, когда станет правительницей, весь Горменгаст спалит, и станет жить сама по себе, а я ей говорю, ты злая, а она говорит, все злые – все до единого, кроме рек, облаков и нескольких кроликов. Она меня иногда пугает.

Оставшиеся ступеньки, коридор и еще одну лестницу, ведущую на третий этаж, женщины одолели в молчании.

Когда они добрались до комнаты госпожи Шлакк, старушка приложила палец к губам и улыбнулась так, что описать эту улыбку невозможно. То было соединение лукавства с плак-

сивостью. Затем, очень осторожно повернув ручку двери, она в несколько приемов приотворила ее и просунула в образовавшуюся узкую щель свою высоченную шляпку со стеклянными виноградинами, словно то был авангард, за которым следовали прочие ее составные части.

Вошла в комнату и Кида. Босые ступни ее бесшумно переступали по полу. Госпожа Шлакк, подойдя к колыбели, вновь приложила пальцы к губам и заглянула в люльку, словно в глубочайшую из пещер еще не открытого мира. Вот и он. Маленький Титус. Глаза его открыты, но лежит он неподвижно. Сморщенное личико новорожденного, старое, как мир, мудрое, как древесные корни. В нем все – грех, добродетель, любовь, жалость и ужас, даже красота, ибо глаза у него – чистого фиалкового цвета. Земные страсти, земные горести, несообразная, нелепая комичность земного существования – все они еще дремлют, но различаются в этом насмешливом, размером не более яблока, лице.

Нянюшка Шлакк склонилась над младенцем, поводя перед его глазами скрюченным пальчиком.

– Сладенький мой, – подхихикивая, пролепетала она. – Ну, как ты тут? Как ты?

К Киде госпожа Шлакк повернулась уже с другим выражением лица.

– Как ты думаешь, может, не стоило мне его оставлять? – спросила она. – Когда я пошла за тобой? Может, не стоило?

Кида взглянула на Титуса. Какое-то время она смотрела на него и слезы наполняли ее глаза. Потом отошла к окну. Отсюда видна была облегавшая Горменгаст гигантская стена. Стена, отрезавшая ее от близких, держащая их в отдалении, точно заразу; стена, заслонившая клочок сухой земли за глиняными лачугами, на котором недавно похоронили ее дитя.

Для тех, кто жил в этих лачугах, очутиться внутри стен – это было волнующее событие, выпадавшее, при нормальном течении жизни, лишь в день Блισταющей Резьбы, попасть же в сам замок значило пережить нечто и вовсе из ряда вон выходящее. И тем не менее Кида сохраняла бесстрастность, она не потрудилась даже задать госпоже Шлакк какие-либо вопросы или хотя бы толком оглядеться. На взгляд бедной госпожи Шлакк такое поведение отдавало дерзостью, она только не могла сообразить, следует ли ей как-то высказаться на этот счет или нет.

Но тут вниманием ее завладел Титус и безразличие Киды быстро забылось, ибо младенец заревел и ревел все громче и громче, несмотря даже на бусы, которыми госпожа Шлакк трясла перед его косенькими глазками, и на попытку пропеть колыбельную из своих призабытых запасов. Она подняла его, пристроив себе на плечо, но визгливые вопли стали еще пронзительнее. Глаза Киды по-прежнему оставались прикованными к стене, но вот наконец она оторвалась от окна, приблизилась сзади к няне Шлакк, на ходу расстегнув, начиная от горла, темно-бурую ткань, высвободила левую грудь и сняла младенца с нянюшкина плеча. Спустя несколько мгновений маленькое личико уже плотно прижималось к груди, рывки и рев прекратились. Кида вернулась к окну, присела, и покой объял ее, исходя как бы из самой ее сердцевины, и молоко ее тела и все обилие ее оказавшейся ненужной любви, поднялись, будто большая волна, поспешая на помощь крошечному созданию, за которое теперь отвечала она.

«ПЕРВАЯ КРОВЬ»

Вверенный нянюшке Шлакк и Киде, Титус рос в Западном крыле не по дням, а по часам. Маленькая головка его что ни день меняла свои причудливые очертания, как то свойственно всем младенцам, пока не обрела наконец окончательных пропорций. Удлиненная, массивная, она обещала со временем обратиться в нечто невиданное.

Фиалковые глаза Титуса искупали, по мнению нянюшки Шлакк, любые странности, присущие форме его головы и чертам, которые, в конце-то концов, для человека, принадлежащего к роду Гроанов, ничего исключительного собою не представляли.

С самых первых дней жизни странное обаяние отличало Титуса. Впрочем, верно и то, что тоненький плач его бывал порою почти невыносим, и госпожа Шлакк, которая настояла на том, чтобы между кормлениями младенец препоручался ее заботам, временами впадала в суетливое отчаяние.

Уже на четвертый день в замке всюю развернулись приготовления к крещению.

Церемония эта всегда проводилась через двенадцать дней после рождения, ближе к вечеру, в приятной, светлой зале первого этажа, эркерные окна которой выходили на поросшие кедрами подстриженные лужайки, спускавшиеся к террасам Горменгаста, по коим прогуливалась на рассвете Графиня со своими котами.

Зала эта была, возможно, самой непритязательной и в то же время самой изящной во всем замке. Никаких теней не таилось в ее углах. От нее веяло спокойной и приятной изысканностью, а когда вечернее солнце обращало лужайки за ее окнами в золотисто-зеленый ковер, зала с ее холодноватыми тонами становилась местом, в котором хотелось помедлить. Сюда редко кто заходил.

Графиня не заходила вовсе, предпочитая те части замка, в которых тени и свет пребывали в непрерывном движении, там, где отсутствовала ясность очертаний. Известно было, что лорд Сепулькревий изредка появляется здесь, чтобы пройтись вдоль всей залы, останавливаясь у окон и созерцая кедры, а после уйти на месяц-другой, пока каприз настроения не приведет его сюда сызнова.

Порою нянюшка Шлакк тайком пробиралась в эту залу и сидела с вязаньем, положив бумажный пакет с шерстью на длинный обеденный стол, занимавший середину залы. Высокая спинка резного кресла нависала над ее головой. Вокруг – спокойный и строгий простор. На столах вазы садовых цветов, срезанных Пятидесятником, старшим садовником. По большей же части, зала неделю за неделей оставалась пустой, если не считать одного утреннего часа, когда Пятидесятник, бывавший в ней ежедневно, расставлял по столам цветы. Сколь ни безлюдна была эта зала, Пятидесятник не пропускал ни единого дня, меняя воду в вазах и вновь помещая в них цветы, подобранные со вкусом и артистичностью, ибо он родился в глиняных хижинах и был до мозга костей проникнут любовью к цвету и его пониманием, отличавшими, словно родовая печать, всех Блистательных Резчиков.

В день крещения он вышел рано, чтобы нарезать свежих цветов. Башни Горменгаста громоздились в утренней дымке, заграждая путь рваным тучам, вздымавшимся с востока. На миг остановясь среди луга, он смерил взглядом гигантские груды тесаного камня, с трудом различив во мгле наверху изъеденные временем серые изваяния с отломившимися головами.

Лежавший у западной стены луг, на котором стоял Пятидесятник, чернел от росы, но под одним из семи кедров, там, где пологий луч солнца растекался лужицей света, мокрая трава сверкала, как бриллиант, всеми красками сразу. Утренний воздух был холоден, и садовник поплотней запахнул короткий кожаный плащ с капюшоном, которым он покрывал, точно монах, голову. Прочный и мягкий, усеянный пятнами плащ потемнел от множества гроз и от

капель, которыми осыпали его обросшие мохом деревья. С пояса свисал на шнуре садовый нож.

Над башнями, пронзая пробуждающийся, кроваво оперенный воздух, летело на север, словно отодранное от орлиного тела крыло, одинокое облако.

Над головой Пятидесятника кедры, подобные колоссальным рисункам углем, начали вдруг проявлять свое устройство, наслоения плоской зелени возносились ярус за ярусом, и встающее солнце остило их очертания.

Пятидесятник повернулся к замку спиной и пошел между кедами, оставляя на мерцающих расплывах росы за собою черные отпечатки чуть свернутых внутрь ступней. Он шел и, казалось, медленно утопал в земле. Каждый шаг его был отдельным, на пробу производимым движением. То было подобие спуска, испытующего погружения, как если б он знал – самое важное для него, то, что он понимает доподлинно, о чем печется, лежит под ним, под его медленно переступающими ногами. Земля – это была земля.

Даже в кожаной своей сутане Пятидесятник не производил внушительного впечатления, и в поступи его, пусть и исполненной значительности, присутствовало, тем не менее, нечто смешное. Ноги Пятидесятника были, по сравнению с телом, коротковаты, но голова, старая, складчатая, отличалась благородством очертаний и нечто величавое проступало в ее ширококостном, морщинистом челе, в прямой линии носа.

О цветах он знал больше любого ботаника или живописца, его волновал в них скорее рост, чем конечный расцвет – органический порыв, достигавший высшего разрешения более в золоте и лазури, нежели в красках, формах или еще в чем-то осязаемом.

Как мать, чья любовь к ребенку не убывает оттого, что лицо его изуродовано, так и Пятидесятник относился к цветам. Всему, что растет, он нес свое знание и любовь, но целиком отдавал себя только яблоням.

На северном склоне невысокого холма, неторопливо сходявшего к ручью, стоял сад, и каждое дерево в нем было для Пятидесятника отдельной личностью.

Августовскими днями Фуксия, случалось, видела его из своего чердачного окна, – иногда он стоял на короткой стремянке, иногда, если ветки были достаточно низки, в траве; долгое тело его и недолгие ножки укорачивались перспективой, кожаный капюшон закрывал лицо; и сколь ни крохотным представлялся Пятидесятник с ее огромной выси, девочка видела, что он протирает до зеркального блеска яблоки, свисающие с ветвей, склоняется, чтобы на них подышать и после трет, трет шелковой тряпочкой, покамест к ней, наверх, не долетит багровая вспышка, различимая даже со страшных высот ее мглистого чердака.

Потом он отступал от дерева с наложенными им плодами и медленно обходил его кругом, наслаждаясь видом розно соединенных яблок и изгибов несущего их ствола.

Пятидесятник провел несколько времени в обнесенном стеной саду, срезая цветы для Крещальной Залы. Он переходил из одной части сада в другую, пока не понял, какой будет главная краска этого дня, и зримо не представил заполняющие залу вазы.

Солнце уже расточило туман и поднималось в небо сияющим блюдом, словно влекомое невидимой нитью. В Крещальной же Зале было еще темновато, когда Пятидесятник вошел в нее через эркерное окно – темной фигурой неверных пропорций с тускло горящими цветами в руках.

Замок между тем пробуждался или был пробуждаем. Лорд Сепулькревий завтракал в трапезной с Саурдустом. Госпожа Шлакк толкала и тыкала грудю одеял, под которой свернулась во мраке Фуксия. Свелтер, лежа в постели, допивал принесенный одним из поварят стакан вина, он еще не вполне проснулся, по колоссальной туше его перекачивались там и тут жутковатые складки. Флэй, бормоча себе что-то под нос, прохаживался взад-вперед по бесконечному серому коридору, сопровождая каждый свой шаг мерным, как тиканье часов, кряком коленных суставов. Ротткодд обмахивал уже третье изваяние, на ходу подни-

мая с пола облачка пыли; а доктор Прюнскваллор напевал, принимая утреннюю ванну. По стенам ванной комнаты висели начертанные на длинных свитках красочные анатомические изображения. Даже в ванне Доктор не расстался с очками и, скашиваясь в поисках оброненного куса ароматного мыла, он, словно к милой возлюбленной, обращался с песней к кривой мышце своего живота.

Стирпайк гляделся в зеркало, изучая свои вялые усики, а Кида смотрела из комнаты Северного крыла, как солнечный свет движется по Извитому Лесу.

Лорд Титус Гроан крепко спал, не ведая, что занимающийся день предвещает его крещение. Головка младенца скатилась на сторону, личико почти целиком скрыто подушкой, крохотный кулачок глубоко улез в рот. На нем шелковая ночная сорочка, желтая с синими звездами; свет, проникая под полуопущенные шторы, крался по его лицу.

Утро шло своим чередом. Челядь суетливо сновала по замку. Нянюшка от всех волнений почти лишилась рассудка и без молчаливой помощи Киды вряд ли справилась бы со множеством дел.

Следовало отгладить крещальную рубашку, следовало извлечь из железного сундука в оружейной крещальные кольца и маленькую, усыпанную самоцветными камнями корону, а ключ от сундука хранится у Шраттла, а Шраттл глух, как пень.

Купание и одевание Титуса требовали особого тщания, время же, при таком обилии дел, бежало слишком быстро для нянюшки Шлакк, она и опомниться не успела, как уж пробыло два.

В конце концов, Кида нашла Шраттла и, изобретательно жестикулируя, ухитрилась втолковать ему, что на закате дня предстоит крещение младенца, что для этого необходима корона и что корону вернут, едва закончится церемония, — Кида управилась и с прочими трудностями, от которых нянюшка Шлакк только заламывала руки да трясла в отчаянии головой.

Послеполуденные часы были великолепны как никогда. Огромные кедры величаво стыли в спокойном воздухе. Подстриженные лужайки отливали тусклым изумрудным стеклом. Изваяния на стенах, похищаемые ночью и нерешительно возвращаемые рассветом, вольно и ярко светились ныне каждой своей точеной подробностью.

Крещальная Зала дышала прохладой, чистотой, безмятежностью. Просторность и благородство ее ожидали явления наших персонажей. Цветы в вазах отзывали небывалым изяществом. В качестве главной ноты Пятидесятник выбрал сиреневый цвет, но здесь и там белый цветок тихо переговаривался с белым цветком над зеленым простором ковра, и одна золотистая орхидея окликала другую.

Близился третий час, и во множестве комнат и зал Горменгаста шла великая суета, однако этот прохладный покой ждал в мирном молчании. Только и было в ней жизни, что в зевах цветов.

Дверь вдруг растворилась, вошел Флэй. Он был в своем обычном длинном, поеденном молью черном костюме, но и этот костюм нес сегодня следы попыток избавиться от пятен что покрупнее и остричь, там, где они пуще всего размахрились, края рукавов и штанин, придав им примерную прямизну. Все эти усовершенствования дополнились тяжелой медной цепью, надетой Флэем на шею. В одной руке он держал на подносе чашу с водой. Безразличное благородство залы обратило Флэя, по контрасту, в полное пугало. Он этого не сознавал. Он помог лорду Сепулькревию одеться, и пока господин его, завершив туалет, стоял, полируя ногти, перед окном своей спальни, Флэй поспешил принести сюда крестильную чашу. До начала собственно церемонии единственная обязанность Флэя как раз и состояла в том, чтобы наполнить чашу водой и утвердить ее на столе, в центре Прохладной Залы. Непочтительно плюхнув чашу в середину стола, Флэй поскреб в затылке и глубоко засунул руки в карманы штанов. Давненько не случалось ему навещать Прохладную Залу. Да и не очень

она ему была интересна. По его разумению, она и вовсе-то к Горменгасту не относилась. В знак пренебрежения он выпятил подбородок, так резко, словно тот был деталью какой-то машины, и стал прохаживаться по зале, неприязненно озирая цветы – вот тут-то за дверью и послышался голос, низкий, убийственно вкрадчивый.

– Тпру! осади, осади, тпру! да смотрите под ноги, мои крысиные глазки! Прочь с дороги. *С дороги* или я вас на филеи пушу! Стоять! Стоять, я сказал! Тело Господне, почему я должен возиться с этими олухами!

Дверной шишак повернулся, дверь медленно отворилась, и в проеме ее стала поне-много возникать физическая противоположность Флэя. Прошло, показалось Флэю, немалое время, пока тугая ткань не растянулась по огромной дуге и над нею не возникла, наконец, обрамленная дверным проемом голова, а в ней глаза, впившиеся в господина Флэя.

Господин Флэй одеревенел, – если вообще может нечто и без того уж не менее деревянное, чем тиковый сук, одеревенеть еще пуще, – пригнул до самых ключиц голову и приподнял, словно стервятник, плечи. Руки его, совершенно прямые, уходили в карманы штанов, к стиснутым кулакам.

Свелтер, увидев, кто перед ним, также замер и на лице его там и сям зазыблилась плоть – эти волны, повинаясь единому импульсу, вливались в океаны мягких щек, оставляя меж ними пустоту, зияющую расщелину, точно из дыни вырезали и вынули ломоть. Зрелище получилось страшное. Как будто Природа утратила над этим лицом всякую власть. Как будто представление об улыбке как о проявлении радости изначально являлось ошибочным – и то сказать, довольно было взглянуть на физиономию Свелтера, чтобы сама мысль о радости представилась оскорбительной.

Из лица изошел голос:

– Ну-ну, – произнес он, – развариться мне до ошметков, если это не господин Флюй. Единственный и неподражаемый Флюй. Ну-ну. Здесь, предо мною, в Прохладной Зале. Пролез в замочную скважину, я полагаю. О, мои обожаемые почки с печенками, да неужто это сам Флюй?

Линия рта господина Флэя, и всегда-то жесткая и тонкая, стала еще тоньше, будто ее прорезали иглой. Глаза его смирли, сверху донизу, белую гору, увенчанную белоснежным форменным колпаком, ибо даже неряха Свелтер приоделся нынче для праздничка.

Сколько ни старался господин Флэй уклоняться от повара, однако случайные встречи, подобные нынешней, были неизбежны, а прошлые их столкновения убедили Флэя, что огромная храмина плоти, стоящая сейчас перед ним, определенно обладает, при всех ее несовершенствах, даром сарказма, далеко превосходящим возможности его собственной немногословной натуры. И потому господин Флэй взял за правило игнорировать, насколько то было возможно, главного повара, как игнорируешь, волей-неволей, выгребную яму при дороге, – вот и сейчас, хоть гордость Флэя уязвило и то, как Свелтер коверкает его имя, и намек на его худобу, он сдержал гневную досаду и просто-напросто двинулся к двери, оглядев предварительно тушу врага и смачно сплюнув в эркерное окно, как бы извергнув некую попавшую в рот гадость. Он молчал, хоть и знал по опыту, что каждое язвящее слово Свелтера без промаха попадает, слипаясь с ним, в растущий ком ненависти, жгущий его под самыми ребрами.

Свелтер, едва господин Флэй сплюнул, отшатнулся в потешном испуге, голова его, вся пойдя складками, вжалась в плечи, а взгляд, изображая комичное волнение, заметался, перебегая с господина Флэя на окно и обратно.

– Ну-ну-ну, – произнес он самым издевательским голосом, источаемым, казалось, грудой сдобного теста, – ну-ну-ну, я вижу, вашим успехам нет и не будет конца. Ах, чтоб мне захлебнуться подливой! Нет конца, да и только! Век живи, век учись. Да, клянусь малюткой угрем, которого я свеживал в ночь на прошлую пятницу, век живи, век учись. – Проворно

поворотясь к господину Флэю спиной, он вдруг взревел: – Предстаньте, да побыстрее! Предстань, мой триумвират, крохотные создания, впившиеся в мое сердце. Предстаньте и представлены будете.

В залу гуськом вошли трое мальчишек лет двенадцати от роду. Каждый с большим подносом, нагруженным разного рода снедью.

– Позвольте мне вас представить, господин Флюй, – произнес Свелтер, когда мальчишки приблизились, не отрывая опасливых глаз от своих драгоценных нош. – Господин Флюй – недоросль Поскакун, недоросль Поскакун – господин Флюй. Господин Флюй – недоросль Балабон, недоросль Балабон – господин Флюй. Господин Флюй – недоросль Побегун, недоросль Побегун – господин Флюй. Флюй – Поскакун – Флюй – Балабон – Флюй – Побегун – Флюй!

Тирада эта содержала в себе такую смесь велеречивости и издевки, какую снести господину Флэю оказалось уже не по силам. Чтобы его, первого среди слуг Горменгаста, конфидента самого лорда Сепулькревия, представляли Свелтеровой кухонной мелюзге, которой и цена-то – ломаный грош, это было уж слишком, и потому, проходя мимо повара к дверям (ибо ему так или иначе надлежало вернуться к его светлости), Флэй стянул через голову цепь и хлестнул тяжелыми медными звеньями по образу своему мучителя. Свелтер еще и опомниться не успел, а господин Флэй уже далеко ушел по коридорам. Лицо повара преобразилось. Вся огромная *оболочка* его головы обмякла от рванувшейся вовне ярости, как обмякает под рукою лепщика глина. Слово «мечь» напечатлелось на ней, начертанное вспухшими буквами. Глаза Свелтера почти мгновенно потухли, обратясь в кусочки стекла.

Трое мальчишек, уже расставив лакомства по столу, в середине которого возвышалась простая крестильная чаша, забились в эркер, мучимые желанием бежать, бежать, как никогда еще в жизни не бегали, бежать под солнечным светом по лужайкам, через поля и потоки, пока не окажутся они далеко-далеко от этого белого призрака с рассекающими лицо безумными красными метками.



Главный повар, вся ненависть коего сосредоточилась ныне на особе Флэя, и думать о мальчишках забыл, да и не стал бы он срывать на них злобу. Его ненависть была не из тех, что вскипает с внезапностью бури и столь же внезапно стихает. Нет, едва улеглась первая судорога гнева и боли, как ненависть эта обратилась в отдельное от него расчетливое существо, которое растет само по себе, не питаясь до времени кровью. То, что трое его любимчиков присутствовали при унижении, которому подвергся грозный их повелитель, ничего в ту минуту для Свелтера не значило, ибо он уже видел всю ситуацию в перспективе и в этой перспективе для детей не было места.

Не промолвив ни слова, он вышел на середину залы. Жирные руки его проворно поставили на столе несколько тарелок. Затем он приблизился к зеркалу, висевшему над вазой с цветами, и с пристальным вниманием изучил свои раны. Раны болели. Поворачивая голову, чтобы лучше себя разглядеть, поскольку лицо целиком в зеркало не влезало и приходилось осматривать его по частям, Свелтер заметил троицу мальчиков и махнул им рукой – уходите. Вскоре и сам он последовал за ними, направляясь к своей комнате над пекарней.

Время общего сбора близилось, и из разных покоев замка к зале шли люди, коих она ожидала. Каждый или каждая шли своей, особой поступью. Каждый или каждая несли сюда свои, особые глаза, носы, рты, волосы, мысли и чувства. Замкнутые, несущие свои, особые, личности, они приближались, словно суда, что влекут по волнам свое, особое, вино, горькое пиво, сладкий ликер. Закрыв за собою двери, эти семеро устремились к Прохладной Зале, растравляя страхи, угрызавшие их души.

Жили в замке две дамы, которые хоть и редко попадались кому на глаза, принадлежали, однако ж, по крови к Гроанам и потому на семейные церемонии, подобные нынешней, разумеется, приглашались. То были их светлости Кора и Кларисса, золовки Гертруды, сестры Сепулькревия, да к тому же еще близнецы. Обитали они в комнатах Южного крыла, разделяя друг с дружкой всепоглощающую страсть – размышлять о коварстве судьбы, распорядившейся так, чтобы им не досталось власти в делах Горменгаста. И эти двое, среди иных, направлялись сейчас к Прохладной Зале.

Традиция, играя свою жестокую роль, заставила Свелтера и Флэя вернуться в Прохладную Залу, чтобы ожидать появления первых участников церемонии, но, по счастью, еще до них сюда подоспел другой человек – Саурдуст, в своем балахоне из мешковины. Он стоял у стола, раскрыв пред собою книгу. Чаша с водой висилась на столе, окруженная образцами Свелтерова искусства, распределенными по золотым подносам и кубкам, искрящимся отраженным солнечным светом.

Свелтер, успевший смесью муки и светлого меда прикрыть рубцы на лице, занял место слева от древнего библиотекаря, над которым он возвышался, как галеон над обломком скалы. С шеи его также свисала церемониальная цепь, подобная той, что украшала Флэя, появившегося мгновением позже. Флэй, не взглянув на повара, перешел комнату и встал по другую руку от Саурдуста, уравновесив – на взгляд художника, если не рационалиста – композицию картины.

Все было готово. Участникам церемонии надлежало появляться по одному, начиная с лиц незначительных, пока не войдет предпоследней Графиня, предваряя ходячий предмет обстановки, нянюшку Шлакк с обернутой в шаль судьбой на руках – Будущим Рода. С крохотной ношей, которая и была Горменгастом, прямым потомком Гроанов – Титусом, Семьдесят Седьмым.

«АССАМБЛЕЯ»

Первым явился чужак – человек происхождения невысокого, которому только его служение семье и сообщало статус отчасти натужного равенства, коего он мог к тому же лишиться в любую минуту – доктор Прюнскваллор.

Он вошел, потряхивая совершенной формы руками, приблизился, семеня, к столу и быстро и живо потер ладонью о ладонь, подняв обе к подбородку, между тем как глаза его пробежались по расставленным яствам.

– Мой чрезвычайно дорогой Свелтер, ха-ха, могу ли я принести вам мои поздравления, ха-ха, как Доктор, знающий кой-какой толк в желудках, дорогой мой Свелтер, и толк немалый? И не в одних желудках, но также и в нёбе, в языках, и в плеве, что облекает своды рта, и не только в сей плеве, но и в чувствительнейших нервных окончаниях, кои, положительно вас уверяю, трепещут, мой дорогой и решительно непревзойденный Свелтер, при одной только мысли о соприкосновении с этими упоительными на вид штучками-дрючками, которые вы, вне всяких сомнений, соорудили на скорую ручку, ха-ха, весьма, весьма, я бы сказал, на то похоже, весьма на то похоже.

Доктор Прюнскваллор улыбнулся, обнаружив между губами два ряда новехоньких надгробных камней, выбросил вперед прекрасную белую руку с согнутым под прямым углом мизинцем и снял с блюда пирожных одно, верхнее – изумрудное, увенчанное шариком крема, – снял с такой точностью, как будто находился у себя в препараторской и удалял некий орган из рассеченной лягушки. Однако он еще не донес добычи до рта, как некое шипение заставило его замереть. Исходило шипение от Саурдуста, и оно вынудило Доктора вернуть пирожное на блюдо даже быстрее, чем Доктор его оттуда снял. Прюнскваллор, похоже, забыл на мгновение или прикинулся, будто забыл, каким строгим приверженцем этикета был старик Саурдуст. Пока Графиня собственной персоной не объявится в зале, никто был не вправе касаться угощения.

– Ха-ха-ха-ха, весьма, весьма уместно и верно, господин Саурдуст, да, да, весьма уместно и верно, – сказал, подмигнув Свелтеру, Доктор. Сильное увеличение, коему стекла очков подвергали глаза его, сообщило этой фамильярности нечто до странности отталкивающее. – Право же, весьма и чрезвычайно верно. Но именно в это и обращает наш Свелтер человека своими неотразимыми кусочками рая – ха-ха, в совершенного варвара обращает он человека, не правда ли, Свелтер? Вы варваризируете человека, ха-ха, не так ли? Положительно варваризируете.

Свелтер, пребывавший в настроении, не располагавшем к подобного рода болтовне, да и вообще предпочитавший, когда дело касалось красноречия, больше говорить, чем слушать, ответил Доктору, не отведя глаз от окна, безрадостным подергиванием губ. Саурдуст перечитывал что-то в книге, водя пальцем по строкам. Флэй изображал деревянную статую.

Ничто, однако, не способно было, по-видимому, умерить бойкую живость доктора Прюнскваллора и, быстро окинув взглядом лица всей троицы, он принялся с нелепой дотошностью изучать, один за другим, свои ногти; а завершив исполнение сей задачи скрупулезным обследованием десятого ногтя, подскочил с резвостью, в его лета неуместной, к окну, прислонился, приняв сверхизящную позу, к оконнице и произвел левой рукой странно женственный жест, до коего был чрезвычайно падок, – свел кончики большого и указательного пальцев, соорудив таким образом О, меж тем как три других пальца, отогнувшись назад, напряженно скривились, создав букву С, несколько, впрочем, меньших размеров. Левый локоть Доктора согнулся под острым углом, отчего кисть его, поднятая на уровень бутоньерки, оказалась примерно в футе от оной. Из узкой груди, похожей на черную трубку, ибо Прюнскваллор облачился сегодня в одежды цвета смерти, извергся тот самый невыносимый

Докторов хохоток, который можно передать лишь как «ха-ха-ха», – сей пронзительный звук словно бы скреб и царапал изнутри череп всякого, кто его слышал.

– Прекрасные деревья, кедр, – сообщил доктор Прюнскваллор, скосясь на деревья за окном. Голова его чуть склонилась к плечу, глаза наполовину закрылись. – Весьма, весьма превосходные. Я положительно наслаждаюсь кедром, но кедр, положительно ли он наслаждается мною? Ха-ха – наслаждаются ли, дорогой мой Флэй, или не наслаждаются? – или сие недоступно вашему разумению, друг мой, то есть моя философия, не слишком ли она высокоумна для вас? Ибо если я наслаждаюсь кедром, а кедр мною, ха-ха, *не* наслаждается, то тем самым я немедленно попадаю в положение, которое следует счесть угрожающим, будучи, так сказать, игнорируемым растительным миром, каковой дважды подумал бы, заметьте это, дорогой мой друг, дважды подумал бы, прежде чем решиться проигнорировать какой-нибудь воз с навозом, ха-ха, или, говоря иными словами...

Тут рассуждения доктора Прюнскваллора были прерваны появлением первых настоящих членов семьи, сестер-двойняшек, их светлостей Кора и Клариссы. Дверь они отворяли очень медленно и, прежде чем войти, внимательно оглядели залу. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как они в последний раз решились покинуть свои покои, да и вообще у них все и вся было на подозрении.

Доктор Прюнскваллор немедленно отлип от окна.

– Ваши светлости простят мне, ха-ха, некоторое нахальство, выразившееся в том, что я принимаю вас, как хозяин, в зале, каковая является, ха-ха, куда более вашей, нежели моей, ха-ха-ха, но которая, тем не менее, как я имею основания подозревать, вам представляется отчасти незнакомой, если позволите сделать столь исключительно вопиющее замечание; столь смехотворно нескромное, фактически даже...

– Это Доктор, дорогая, – перебив его, безжизненным шепотом сообщила леди Кора сестре.

Леди Кларисса просто-напросто воззрилась на названного тощего господина и глядела так долго, что всякий, кроме Доктора, пожалуй, обратился бы в бегство.

– Я знаю, кто это, – сказала она наконец. – Что у него с глазами?

– Болезнь какую-то подцепил, конечно, я полагаю. Ты разве не знала? – ответила леди Кора.

Сестры были в пурпурных платьях с золотыми пряжками наподобие брошей на горле и с такими же на шляпных булавках, кои они воткнули в седые волосы, очевидно под пару брошам. Лица их, одинаковые до неприличия, ничего решительно не выражали, как если бы то были наброски лиц, ожидающие, когда им сообщат какие-либо чувства.

– Что вы здесь делаете? – беспощадным тоном осведомилась Кора. Доктор Прюнскваллор поклонился ей, выставив зубы. И хлопнул в ладоши.

– Удостоен, – сказал он, – весьма и весьма, о да, весьма и весьма удостоен.

– Почему? – спросила леди Кларисса. Голос ее в совершенстве повторял голос сестры, внушая подозрение, что в тех неведомых областях, где сооружаются подобные существа, голосовые связки их отрезают от одного куска кетгута.

Теперь сестры стояли по сторонам Доктора и смотрели на него с пустым выражением, заставившем его поднять глаза к потолку, ибо несколько раз переведя взгляд с одной на другую, он никакого облегчения не испытал. По контрасту с их лицами белый потолок представлялся переполненным разного рода любопытнейшими деталями, вот Доктор и не отрывал от него глаз.

– Ваши светлости, – сказал он, – может ли статься, что вам неведома роль, которую я исполняю в общественной жизни Горменгаста? Я сказал «в общественной», однако кто, ха-ха-ха, мог бы оспорить меня, если бы я позволил себе похвастаться, что речь идет о большем, нежели жизнь *общественная*, ха-ха-ха, что речь, мои бесценные ваши светлости, идет поло-

жительно об органической жизни замка, каковую я опекаю и коей ведаю, ха-ха, в том смысле, что, пройдя, как я безусловно прошел, курс наук о том, и сем, и пятом, и десятом, ха-ха-ха, наук, относящихся до всякого рода анатомической ерунды, коей человек набит с головы и до пят, я, в чем, собственно, и состоит часть моей работы, доставляю старым поколениям новые – безгрешных грешным, ха-ха-ха, незапятнанных замаранным, вот так сказал! – белое черному, здоровье недужному. И нынешняя церемония, мои драгоценные ваши светлости, есть результат моей профессиональной сноровки, ха-ха-ха, доставившей нам новехонького Гроана.

– Что вы сказали? – спросила леди Кларисса, которая так все это время и глядела на него, не шевельнув ни единым лицевым мускулом.

Доктор Прюнскваллор сомкнул вежды и продержал оные сомкнутыми долгое время. Открыв же их, он шагнул вперед и вздохнул так глубоко, как то позволяла его узкая грудь. Затем резко обернулся к двум пурпурным фигурам и погрозил им пальцем.

– Ваши светлости, – сказал он. – Нужно уметь *слушать*. Вы ничего не достигнете в жизни, если не научитесь *слушать*.

– *Достигнем* в жизни? – немедленно отозвалась леди Кора. – *Достигнем* в жизни. Мне это нравится. Чего мы можем достичь, если все, что нам принадлежит, получила Гертруда?

– Да-да, – подхватила другая – так, что показалось, будто голос ее сестры переметнулся вдруг в иную часть залы. – Все, что у нее есть, принадлежит нам.

– И что представляет собой это *все*, дорогие мои ваши светлости? – осведомился доктор Прюнскваллор, склоняя голову набок и глядя на сестер.

– Власть, – решительно и в один голос объявили они, как будто уже отрепетировали эту сцену. Полная бестонность их голосов настолько не отвечала сути сказанного, что даже доктор Прюнскваллор на миг впал в растерянность и оттянул указательным пальцем белый воротничок, сжимавший ему горло.

– Мы хотим власти, – повторила леди Кларисса. – Нам бы она понравилась.

– Да, вот чего мы хотим, – эхом отозвалась леди Кора, – много-много власти.

– Тогда мы смогли бы заставлять людей делать то и другое, – сказал голос.

– А всю власть, – вступило эхо, – которая причиталась нам да не досталась, получила Гертруда.

Изъяснившись, сестры поочередно осмотрели Свелтера, Саурдуста и Флэя.

– *Эти*, я полагаю, тоже должны здесь присутствовать? – спросила Кора, указав на них пальцем, перед тем как перевести взгляд на доктора Прюнскваллора, который вновь углубился в созерцание потолка. Но прежде чем он успел ответить, дверь распахнулась и вошла одетая в белое Фуксия.

Двенадцать дней пролетело с тех пор, как Фуксия узнала, что она больше не единственный ребенок. Она упрямо отказывалась повидать брата и сегодня ей предстояло впервые встретиться с ним – по обязанности. Первый гнев, который и сама она затруднялась себе объяснить, выдохся, сменившись удрученным смирением. Это было самое настоящее горе, причин которого Фуксия не понимала. Она не понимала даже, *что* вызывает в ней такую обиду.

У госпожи Шлакк не нашлось времени, чтобы помочь Фуксии принарядиться, няня только сказала девочке, чтобы та причесалась, чтобы белое платье, дабы его не помять, надела в последнюю минуту и чтобы появилась в Прохладной Зале в две минуты четвертого.

Залитые солнцем лужайки, цветы в вазах и сама зала, казалось, предвещали приятный вечер – пока в нее не пришли двое слуг и не стряслось уже описанное несчастье. Стычка, происшедшая здесь, окрасила горечью последующие часы.

Фуксия вошла с красными от слез глазами. Она неловко опустилась в реверансе перед двумя свойственницами матери, а после уселась в дальнем углу. Впрочем, ей пришлось

почти сразу же встать, поскольку вошел и медленно прошествовал к середине залы ее отец, а по пятам за ним и Графиня.

Без единого предуведомляющего слова Саурдуст грянул о стол костяшками пальцев и старческим голосом возопил:

– Все собрались, кроме него, ради которого собрано это собрание. Все мы здесь, кроме него, ради которого все мы здесь. И вот, пред столом крещения его и пред всеми, кто его ожидает, я объявляю приход входящего в Жизнь, наследника Гроанов, незапятнанного зеркала Горменгаста, принявшего облик дитяти.

Прижав ладонь к груди, Саурдуст болезненно закашлялся. Он заглянул в книгу, провел пальцем по новой строке. Затем, семена, обогнул стол, – комковатая, иссера-белая борода его моталась из стороны в сторону, – и расставил пятерых обнявшим стол полукругом, спинами к окну. В середине поместились Графиня и лорд Сепулькревий, Фуксия заняла место слева от отца, доктор Прюнскваллор – справа от леди Гроан, но притом чуть позади полукруга. Сестрам пришлось расстаться, каждая замкнула свой фланг дуги. Флэй и Свелтер отступили на несколько шагов и застыли. Флэй прикусил костяшки пальцев.

Саурдуст вернулся на свое единоличное место за столом – теперь, когда по сторонам от него не возвышались, обращая его в карлика, утесом – Флэй и курганом – Свелтер, он выглядел куда внушительнее. Снова возвысил он голос, но говорить ему было трудно, слезы вскипали в горле, величие исполняемого им долга лежало на нем тяжким гнетом. Как глубокий знаток мудрости Гроанов, он понимал, что несет духовную ответственность за правильность совершаемой процедуры. Мгновенья, подобные этому, были высшими взлетами в ритуальном кружении его жизни.

– Солнца и сменные луны времен; листья деревьев, неспособных сохранить надолго листву; и рыбы из оливковых вод – все имеют свои голоса!

Словно в молитве, он сжал перед собою ладони, морщинистая глава его с пугающей четкостью различалась в ясном свете комнаты. Голос старика окреп.

– Камни имеют свои голоса, и полые перья птиц; гнев терний, уязвленные души, рога оленей и гнутые ребра, хлеб, и слезы, и иглы. Грубые глыбы и молчание хладных болот – и эти имеют свои голоса, – и мятежные тучи, и петушок, и всякий червяк.

Саурдуст склонился над книгой, нащарил пальцем нужное место и перевернул страницу.

– Голоса, что скрежешут ночами в легких гранита. В легких синего воздуха и в белых легких рек. Все голоса наполняют всякий миг всякого дня; все голоса заполняют расселины всех земных областей. Голоса, которые он услышит, когда преклонит свое ухо, когда его ухо обратится к Горменгасту. Чей голос есть бесконечность самой бесконечности. Вот древний звук, за коим он должен идти. Голос камней, взгроможденных в серые башни, пока не испустит он дух в смертной башне Гроанов. И знамена сорвут с бастионов и стен, и его понесут в Башню Башен и положат средь праха отцов его.

– Долго еще? – спросила Графиня. Она слушала отнюдь без того внимания, какого требовал случай, и кормила крошками из кармана серую птицу, сидевшую у нее на плече.

Заслышав вопрос леди Гроан, Саурдуст оторвал взгляд от книги. Глаза его затуманились, ибо раздражение, прозвучавшее в этом голосе, причинило боль старику.

– Древнее слово двенадцатого лорда произнесено до конца, ваша светлость, – сказал он, снова уткнувшись в книгу.

– Вот и ладно, – сказала леди Гроан. – Что дальше?

– По-моему, мы должны развернуться и оглядеть парк, – неуверенно произнесла Кларисса, – правда, Кора? Помнишь, перед тем как внесли малютку Фуксию, мы все развернулись и смотрели через окошко в парк. Я уверена, так и было, – правда, очень давно.

– И где вы с тех пор пропадали? – спросила Гертруда, вдруг обратившись к золовкам и обозрев их, сначала одну, после другую. Темно-красные волосы ее уже растрепались на шее, птичьи лапы взъерошили мягкий, черный как смоль ворс бархатного платья, отчего на плече он казался разодранным, серым.

– Мы все время были в Южном крыле, Гертруда, – ответила Кора.

– Вот где мы были, – сказала Кларисса. – В Южном крыле.

Леди Гроан бросила любящий взгляд на свое левое плечо, и серая птица, стоявшая там, спрятав голову под крыло, придвинулась в три быстрых шажка к ее шее. Графиня вновь перевела глаза на золовок:

– Чем занимались? – спросила она.

– Думали, – ответили вместе Двойняшки, – вот чем мы занимались – много-много думали.

Тонкий, неуправляемый смешок задребезжал за спиной Графини. Это опозорился Прюнскваллор. Неудачное время избрал он, чтоб возвестить о своем присутствии. Его здесь терпели, не более, впрочем, сильный удар по столу спас его – внимание всех вновь обратилось к Саурдусту.

– Ваша светлость, – медленно возвестил Саурдуст, – закон гласит, что вам, семьдесят шестому графу Гроанскому и лорду Горменгасту, должно теперь проследовать к дверям Крещальной Залы и выкликнуть имя вашего сына, обращаясь к пустому проходу.

Лорд Сепулькревий, который до этой минуты хранил, как и дочь его, совершенные безмолвие и неподвижность – стоял, упершись меланхолическим взором в грязный камзол своего слуги Флэя, маячившего прямо перед ним по другую сторону стола, – повернулся к дверям и, достигнув оных, откашлялся, прочищая горло.

Графиня проводила его глазами, но выражение лица ее было слишком неясным, чтобы в нем можно было что-либо прочесть. Лица Двойняшек – два пятна одинаковой плоти – последовали за ним, поворачиваясь. Фуксия посасывала стиснутый кулачок, оставаясь, казалось, единственным в зале существом, совсем безразличным к перемещениям отца. Глаза Флэя и Свелтера были прикованы к Графу, ибо хоть мысли их все еще наполняла происшедшая полчасом раньше стычка, оба были слишком значительной частью ритуала Гроанов, чтобы не следить со своего рода мрачной зачарованностью за каждым движением его светлости.

Саурдуст, которого снедала тревожная озабоченность совершенством исполнения обряда, вязал на своей черно-белой бороде такие узлы, которых наверняка никому и никогда распустить не удастся. Опершись ладонями о трапезный стол, он навис над крестильной чашей.

Между тем Кида успокаивала нянюшку Шлакк, в ожидании зова затаившуюся с Титусом на руках за изгибом прохода.

– Не волнуйтесь вы так, госпожа Шлакк, скоро все кончится, – говорила Кида маленькому трясущемуся существу, облаченному в сверкливейший темно-зеленый атлас и украсившему голову виноградной шляпкой, величавые пропорции коей никак не вязались с крохотным личиком под ней.

– Не волнуйтесь, скажешь тоже, – отвечала нянюшка Шлакк тонким дрожащим голоском. – Если бы только ты понимала, что это значит – занимать столь почетное положение, ох, бедное мое сердце! Тебе бы и в голову тогда не пришло сказать мне, чтоб я не волновалась, куда! Невежество какое! Да что же они там так долго? Разве ему не пора уже вызвать меня? А бесценный-то мой, такой тихонький, а ведь того и гляди расплечется, – ох, мое бедное сердце! Ну что же так долго? Отряхни еще раз мое платье.

Кида, которой велено было принести с собой мягкую щетку, наверное все утро так и отряхивала бы нянюшкино атласное платье, если б старушке хватило сил настоять на своем.

Теперь ей было раздраженным жестом приказано отряхнуть его заново и, чтобы умиротворить старую няню, Кида несколько раз провела по подолу щеткой.

Фиалковые глаза Титуса следили за лицом Киды, тусклый свет, льющийся из-за угла коридора, искажал его и без того гротескные крохотные черты. Лицо человека – это его история. История сколка гигантской скалы человечества. Листка от леса людских страстей, людской мудрости и людской муки. Титус был дряхл, как мир.

Дряхлым было и нянюшкино лицо – морщины, отвисшая кожа, красные веки, складочки у рта. Анатомическая, никчемная дряхлость.

Дряхлость Киды – работа судьбы, алхимия. Странное старение. Прозрачная тьма. Обращенный в руины таинственный лес. Трагедия, блеск, распад.

Трое ждут в темном углу. Нянюшке шестьдесят девять, Киде двадцать два, Титусу двенадцать дней.

Лорд Сепулькревий откашлялся. И позвал:

– Сын мой.

«ТИТУС КРЕЩАЕТСЯ»

Голос его полетел по проходу и свернул за каменный угол, и, едва заслышав звук взволнованных шажков госпожи Шлакк, Граф приступил к исполнению той части процедуры, о которой Саурдуст вот уж три дня толковал ему за завтраком.

В идеале, произносимая им речь должна была занять ровно столько времени, сколько потребуется нянюшке Шлакк, чтобы добраться из ее темного закута до порога Прохладной Залы.

– Наследователь власти, которой я облечен, – донесся из дверного проема задумчивый голос Графа, – продолжатель кровной линии наших камней, приток бесконечной реки, ныне приблизься ко мне. Я, простое звено династической цепи, заклиная тебя, приблизься, как перелетает мрачную тучу железных небес белая птица. Приблизься ныне к крестильной чаше, где, получивши имя и почести, ты будешь посвящен Горменгасту. Дитя! Добро пожаловать!

К сожалению, Нянюшка, запнувшаяся о разболтавшуюся каменную плиту, при слове «...пожаловать» находилась еще футах в десяти от залы, – Саурдусту, на массивном челе которого выступили капельки пота, показалось, что три долгих секунды, которые потребовались ей, чтобы достичь двери, влачатся с неспешностью призраков. Впрочем, в последний миг перед тем, как старушка покинула закут, Кида мягко водрузила на головку младенца маленькую железную корону, и оттого, когда няня с дитятей явилась пред ассамблеей, несоветимый вид их, столь совершенно гармонизировавший с происходящим, вполне искупил трехсекундное опоздание.

Саурдуста, едва он их увидел, охватило такое блаженство, что он тут же и забыл об измучившем его промедлении. Держа в руках огромную книгу, он величаво приблизился к госпоже Шлакк, и оказавшись пред нею, раскрыл том так, что тот распался на две равные половины, протянул его нянюшке Шлакк и произнес:

– Здесь написано и написано на века, что перворожденного сына Дома Гроанов надлежит уложить между этих страниц, коих лен поседел от мудрости, и уложить вдоль всей их длины, дабы глава его указывала на крестильную чашу, затем, изогнув вовнутрь страницы, ставшие тяжкими от слов, сомкнуть их над ним, дабы иссохший Текст поглотил его, объяв своей Глубиной, и дабы стал он един с ненарушимым Законом.

Нянюшка Шлакк, храня на лице выражение бессмысленной важности, опустила Титуса в развалистое V полуоткрытой книги, так что коронка его выставилась за корешок со стороны Саурдуста, а ножки – с нянюшкиной стороны.

Вслед за тем лорд Сепулькревий сомкнул над беспомощным тельцем две страницы и скрепил плотный пергамент безопасной булавкой, образовав подобье трубы.

Покоясь на корешке гигантского тома, так что ножки торчали из одного обреза пергаментной трубки, а зубья короны – из другого, дитя представляло, на взгляд Саурдуста, подлинную квинтэссенцию традиции и порядка. Чувство это оказалось столь сильным, что, пока Саурдуст продвигался с потяжелевшей книгой в руках к трапезному столу, глаза его наполнились слезами удовлетворения, вследствие чего отыскать правильный путь между столиками стало ему не под силу, и две вазы с цветами, стоявшие столь недвижно в прохладном воздухе залы, обратились для старика в сиреневый дым, в наносы неясного снега.

Вытереть слезы Саурдуст не мог, поскольку руки его были заняты, и он остановился, ожидая, пока глаза сами очистятся от затуманившей их влаги.

Фуксия, зная, что ей полагается оставаться на месте, тем не менее присоединилась к нянюшке Шлакк. Ее разозлила Кларисса, лезшая к ней с какими-то намеками, полагая, видимо, что никто этого не заметит.

– Ты никогда не приходишь меня повидать, хоть ты мне и родственница, но это потому, что я сама не хочу и никогда тебя не приглашала, – сказала ей тетка, после чего оглянулась, желая убедиться, что никто за ней не следит, и обнаружив, что Гертрудой овладело нечто вроде колоссального оцепенения, продолжила: – Видишь ли, бедная деточка, мы с сестрицей Корой гораздо старше тебя, а когда нам было примерно столько же лет, сколько тебе, у нас случались конвульсии. Ты, наверное, заметила, что левые руки у нас гнутся плохо и левые ноги тоже. Но это не наша вина.

С другой оконечности полукруга застывших фигур донесся голос ее сестры, тусклый и хриплый шепот, как бы пытавшийся достигнуть ушей Фуксии, минуя череду ушей промежуточных:

– Совсем не наша вина, – подтвердила Кора. – Ни чуточки не наша. Вот ни чуточки... Эпилептические припадки, деточка, – продолжала Кора, покивав в ответ на вмешательство сестры. – Они почти совсем сглотали нас с правой стороны. Почти совсем. У нас были эти припадки, понимаешь?

– Когда нам было примерно столько же лет, сколько тебе, – донеслось все то же пустое эхо.

– Да, примерно столько же лет, – сказала Кора, – и мы почти совсем исхудали справа, так что приходилось расшивать гобелены одной рукой.

– Только одной рукой, – сказала Кларисса. – Это мы очень умно придумали. Но к нам все равно никто не приходит.

Она наклонилась вперед, чтобы повернее внедрить в сознание Фуксии эти слова, толкнуть их туда, словно от них зависело все будущее Горменгаста.

Фуксия поежилась и принялась с силой наматывать на палец прядь волос.

– Не делай этого, – сказала Кора. – У тебя слишком черные волосы. Не надо так делать.

– Слишком, слишком черные, – вступило тусклое эхо.

– Особенно когда платье такое белое.

Кора согнулась, так что лицо ее оказалось в футе от лица Фуксии. Затем отведя глаза, но не отвратив лица:

– Нам *не нравится* твоя мать, – сказала она.

Фуксия испугалась. Следом тот же голос прозвучал по другую сторону от нее:

– Это правда, – сказал голос, – не нравится.

Фуксия обернулась так резко, что черные волосы ее полетели по воздуху. Кора, не сумевшая удержаться вдали от разговора, в нарушение всех правил обогнула стоящих, двигаясь, как лунатичка, и не отрывая глаз от бархатно-черной глыбы Графини.

Впрочем ее ожидало разочарование, потому что едва лишь она приблизилась, как испуганно озиравшейся Фуксии попала на глаза нянюшка Шлакк, и девочка улизнула от теток, чтобы вместе с няней следить за церемонией, продолжавшейся у стола, где Саурдуст держал ее брата, запеленутого в страницы книги. Фуксия отошла к Нянюшке и взяла ее за тощенькую атласно-зеленую руку, сразу за тем, как старушку избавили от Титуса. Саурдуст, сопровождаемый лордом Сепулькревием, достиг, наконец, стола. Он уже пришел в себя. Однако все удовольствие от того, как подвигается дело, сгинуло, едва пелена спала с его глаз и перед ним предстала не слитная группа избранных, выстроившихся церемониальной дугой, а сборище отдельных людей, разбредшихся по зале кто куда. Ужас обуял старика. Единственными, кто выдерживал строй, были герцогиня – да и она стояла там, где утвердилась в самом начале, не из приверженности долгу, а скорее потому, что впала в подобие комы, – и ее супруг, снова занявший место рядом с нею. Саурдуст с тяжелой книгой в руках обогнул неверной поступью стол. Кларисса и Кора замерли рядышком, телами друг к дружке, но свернув головы в сторону Фуксии. Та оказалась около госпожи Шлакк, а доктор Прюнсваллор, привстав на цыпочки, изучал сквозь увеличительное стекло, извлеченное из кар-

мана, тычинки стоявшего в вазе белого цветка. Подниматься на цыпочки особой нужды не имелось, поскольку ни стол не был высок, ни ваза, ни цветок. Однако поза, доставлявшая Доктору наиживейшее наслаждение при изучении цветка, была именно та, в которой тело изгибается над лепестками изысканной кривой.

Саурдуст был потрясен. Уголки рта его задержались. Старое, изрытое морщинами лицо обратилось в фантастическую поверхность награвированных перекрестных штрихов, в слабых глазах застыло отчаянье. Он попытался опустить тяжкий том на стол, на положенное место рядом с крестильной чашей, но онемевшие пальцы старика уже утратили цепкость, кожаный переплет выскользнул из его рук, и Титус скользнул по страницам, успев напоследок отодрать уголок одного из листов, которыми был он спеленут и в который ручонка его вцепилась, пока он падал. Таков был первый из известных истории кощунственных поступков Титуса. Он осквернил Книгу Крещения. Железная корона слетела с его головы. Нянюшка Шлакк стиснула руку Фуксии, а затем, взвизгнув:

– Ох, бедное мое сердце! – засеменила к дитяти, лежавшему, горестно вопя, на полу.

Саурдуст попытался разорвать на себе мешковину, но поняв, что лишь зря утруждает дряхлые пальцы, застонал от бессилия. Он страдал. Доктор Прюнскваллор, с поразительным проворством поднеся ко рту белый кулачок, стоял, чуть покачиваясь. Миг спустя, он повернулся к леди Гроан.

– Они словно каучуковые, ваша светлость, ха-ха-ха-ха. Просто резиновый шарик с упругой сердцевинкой. О да, именно так. Весьма и весьма так. Слово «эластичность» тут не пригодно. Ха-ха-ха, решительно непригодное слово – уж нет, так нет. Что ни мальчик, то и мячик, ха-ха-ха! Что ни мальчик, то мячик.

– О чем вы, милейший? – осведомилась Графиня.

– О вашем ребенке, который только что брякнулся на пол.

– Брякнулся? – резко спросила Графиня. – Куда?

– На землю, ваша светлость, ха-ха-ха. Положительно брякнулся на землю. То есть на землю, накрытую одним-двумя слоями камня, дерева и ковровой ткани, отделяющими ее первобытную сущность от его крошечной светлости, чьи вопли вы, несомненно, слышите.

– А, так вот это что, – сказала леди Гроан, из губ которой, сложенных так, точно она собиралась свистнуть, серая птица извлекала кусочек сухой булочки.

– Да, – сказала Кора, подскочившая к невестке, как только ребенок упал, и уставившаяся ей прямо в лицо. – Да, это оно и есть.

Кларисса, отраженьем сестры объявившаяся с другого бока Графини, подтвердила данное сестрой истолкование:

– Оно самое и есть.

Затем обе осторожно заглянули Графине за спину и обменялись понимающими взглядами.

Серая птица, извлекая лакомство из больших выпученных губ ее светлости, перепорхнула с плеча ее на согнутый палец и замерла, неподвижная, как изваяние, Графиня же, покинув двойняшек (которые, как если б ее уход оставил вакуум между ними, тут же сошлись, заполняя его), проследовала к месту трагедии. Там она нашла Саурдуста, успевшего восстановить достоинство осанки, но все еще трясшегося под своим багровым рядом. Граф, сознававший, что мужчина в такой ситуации бесполезен, стоял в стороне, нервно всматриваясь в сына. Он покусывал металлический обод на шишаке своей нефритовой трости, озираясь по сторонам, однако взгляд его неизменно возвращался к младенцу, заходившемуся в плаче на нянюшкиных руках.

Графиня отобрала Титуса у госпожи Шлакк и отошла с ним к эркерному окну.

Наблюдая за матерью, Фуксия почувствовала, как в ней просыпается что-то вроде невольной жалости к маленькой ноше Графини. Что-то похожее на прилив родственных

чувств, прилив теплоты, ибо едва увидев, как брат раздирает заключавшие его листы, она осознала, что здесь, в зале, присутствует еще одно существо, для которого вся напыщенная надменность Горменгаста есть нечто такое, от чего следует бежать без оглядки. В помутнении жгучей ревности Фуксия воображала брата красивым младенцем, но взглядевшись в него и поняв, что о красоте тут и речи идти не может, она прониклась расположением к мальчику и в тускло тлеющих глазах ее на секунду явилось нечто от того выражения, которое мать приберегала исключительно для своих птиц и белых котов.

Подставив Титуса под лившийся в окно солнечный свет, Графиня осмотрела его лицо, издавая при этом легкое чмокание, обращенное, впрочем, к серой птице. Затем перевернула сына и довольно долгое время разглядывала его затылок.

– Принесите корону, – сказала она.

Подошел, отведя приподнятые локти и растопырив пальцы, между которыми помещалась железная корона, доктор Прюнскваллор. Глаза его за очками, казалось, норовили вылезти из орбит.

– Прикажете короновать его в солнечном свете? ха-хе-ха. Положительно короновать, – произнес он и показал Графине те же шеренги не склонных ни к каким компромиссам зубов, созерцания коих он несколько минут назад удостоил Кору.

Титус примолк, в чудовищных руках матери он выглядел невероятно маленьким. Он не ушибся, падение лишь напугало его. Последние, редкие рыдания сотрясали его тельце каждые несколько секунд.

– Наденьте корону на голову, – сказала Графиня. Доктор Прюнскваллор согнулся так, что верхняя половина тела его образовала исходящую из поясницы прямую наклонную линию. Ноги Доктора выглядели в черных штанинах настолько тонкими, что когда из парка легко дохнул ветерок, ткань – в том месте, где следовало помещаться голенным костям, – казалось, вдуло вовнутрь. Он опустил коронку на белую картофелину головы.

– Саурдуст, – произнесла, не обернувшись Графиня, – подойдите сюда.

Саурдуст задрал подбородок. Он уже поднял с полу книгу и прилаживал оторванный клоч бумаги на место, проглаживая его трясущимся пальцем.

– Да идите же, наконец! – сказала Графиня.

Саурдуст обогнул угол стола и стал перед нею.

– Мы погуляем по лужайке, Саурдуст, а после вы сможете закончить крещение. И успокойтесь, милейший, – прибавила она. – Хватит трястись.

Саурдуст поклонился, чувствуя, что такой перерыв в ритуале крещения отдает святотатством, и вышел в окно вслед за Графиней, крикнувшей через плечо:

– И вы все! все! слуги тоже!

И все они выступили наружу, и, избрав себе каждый по параллельной полоске скошенной травы, кои, чуть рознясь оттенком одна от другой, сходились вдали совершенно прямыми зелеными линиями, безмолвно зашагали, двигаясь в ряд, – вперед, потом обратно – и так прогуливались сорок минут.

Поступь они принаравливали к самому медлительному из них, к Саурдусту. С северной стороны их, когда они выступили в поход, осенили кедры. Фигуры людей уменьшались, удаляясь по изумрудным полоскам подстриженной лужайки. Точно игрушки: разъемные, раскрашенные игрушки, двигались они, каждый по своей полосе.

Понурый лорд Сепулькревий ступал медленно. Фуксия брела нога за ногу. Доктор Прюнскваллор семенил. Двойняшки безучастно перебирали ногами. Флэй полз по своей полосе, словно паук по нити. Свелтер косолапо валил по своей.

И все это время Графиня держала Титуса на руках и высвистывала разнообразные ноты, на которые к ней слетались сквозь позлащенный воздух странные птицы из неизвестных лесов.

Когда они наконец ворвались в Прохладную Залу, Саурдуст выглядел поспокойнее – прогулка его утомила.

Сделав своим спутникам знак занять отведенные им места, он с тягостным чувством возложил ладони на порванный том и оборотился лицом к замершему перед ним полукругу.

Титуса вновь поместили в Книгу и Саурдуст осторожно опустил ее и младенца на стол.

– Я опускаю тебя, Младенец-Наследователь, – произнес он, продолжая с того места, на котором был прерван своими же дряхлыми пальцами, – Младенец-Наследователь рек, Кремнистой Башни, и темных ниш под холодными лестницами, и солнечных летних лужаек. Младенец-Наследователь весеннего ветра, что дует из ярловых лесов, и осенних невзгод лепестка, крыла и чешуйки. Белого блеска зимы на тысяче башен и летнего жара крошащихся стен – слушай. Слушай со смирением принцев и понимай пониманием муравьев. Слушай, Младенец-Наследователь, и дивись. Усвой то, что я тебе говорю.

Тут Саурдуст через стол передал Титуса матери и, горсткой сложив ладонь, окунул ее в крестильную чашу. Затем, поднеся мокрую по запястье руку к Титусу, он позволил воде пролиться сквозь пальцы на головку младенца, туда, где между зубцами короны остался открытым овальный участок напрягаемой костью кожи.

– Имя твое – ТИТУС, – совсем просто сказал Саурдуст. – ТИТУС, семьдесят седьмой граф Гроанский и лорд Горменгаст. Я заклинаю тебя свято чтить каждый камень, что врос в эти серые стены, твои родовые стены. Я заклинаю тебя свято чтить темную почву, что вскормила твои высокие густолиственные деревья. Я заклинаю тебя свято чтить догматы, кои, ветвясь, образуют верование Горменгаста. Я посвящаю тебя замку отца твоего. Будь верен, Титус.

Титуса опять передали Саурдусту, а тот вручил его нянюшке Шлакк. Залу заполнял упоительный, холодноватый аромат цветов. После нескольких посвященных созерцанию минут Саурдуст подал знак – можно приступать к трапезе, – и вперед выступил Свелтер, уже успевший разместить по четыре тарелки с кушаньями на каждом предплечье и еще по одной в ладонях, и пошел с ними по кругу. Затем он разлил по бокалам вино, – Флэй между тем неотступной тенью следовал за лордом Сепулькревием. Никто из присутствовавших не пытался завести разговор, все молча стояли в разных частях залы, поглощая еду и питье, или у эркерного окна, жуя и прихлебывая, и глядя в простор лужаек. Лишь Двойняшки присели в углу, лишь они, покончив с содержимым тарелок, поманили к себе Свелтера. Этому вечеру предстояло на долгие дни стать для них темой взволнованных воспоминаний. Лорд Сепулькревий ни к одному из яств не притронулся, а когда Свелтер приблизился с подносом жареных жаворонков, Флэй повелительно отослал его прочь и, заметив злобное выражение свиных глазок главного повара, поднял костлявые плечи к ушам.

Время шло, Саурдуст все более проникался сознанием ответственности, почившей на нем как на распорядителе ритуала, и наконец, определив по солнцу, уже разрезанному тонкой кленовой ветвью, что миг настал, хлопнул в ладони и поволокся к дверям.

Теперь всем собравшимся в зале следовало сойтись в ее середине, а затем по одному миновать Саурдуста и госпожу Шлакк, каковой надлежало сидеть рядом с ним, держа на коленях Титуса.

Названные позиции были подобающим образом заняты, первым пройти в дверь полагалось лорду Сепулькревию, и он прошел, и подняв повыше печальную голову, произнес, минуя сына, одно только слово:

– Титус, – голосом торжественным и отчужденным. Следом за ним потекла объемистая Графиня и тоже рывкнула:

– ТИТУС, – сморщенному младенцу.

За нею последовали остальные: сестры, мешавшие друг дружке в стараниях первой сказать свое слово, Доктор, сверкнувший при слове «Титус» зубами, как если б оно было

сигналом к романтическому броску кавалерии, охваченная смятением Фуксия, не отрывавшая глаз от зубцов на короне брата.

Ну вот, все и прошли, откидывая головы, произнося «Титус» каждый на свой лад, и госпожа Шлакк осталась одна, ибо даже Саурдуст покинул ее, последовав за Флэем.

Одна-одинешенька в Прохладной Зале, Нянюшка нервно оглядела ее пустоту, солнечный свет, лившийся в огромное окно.

И внезапно расплакалась – от усталости, от волнения, от испуга, охватившего ее, когда Графиня так страшно гаркнула «Титус» его маленькой светлости и ей самой, госпоже Шлакк. Сухонькой и жалкой казалась она в высоком кресле, с коронованной куколкой на руках. Зеленый атлас ее насмешливо поблескивал в свете позднего дня.

– Ох, мое усталое сердце, – причитала она, и слезы ползли по иссохшим, словно у старой груши, морщинам ее миниатюрного личика, – мое бедное, бедное сердце – как будто любить его такое уж преступление. – Она прижала лицо младенца к щеке. Глаза ее были зажмурены, ресницы влажны, губы дрожали, и украдкой вернувшаяся Фуксия опустила перед ней на колени и обняла няню с братиком сильными руками.

Госпожа Шлакк открыла покрасневшие глазки, поникла и все трое прижались друг к дружке, обратись в слитный комок сострадания.

– Я тебя *люблю*, – прошептала Фуксия, поднимая к няне припухшие глаза, – я тебя люблю, я тебя люблю, – и обернувшись к дверям, прокричала, словно обращаясь к веренице людей, только что прошедших сквозь них: – Вы ее до слез довели, до слез довели, скоты!

ПУТЬ НА ВОЛЮ

Две важных заботы снедали господина Флэя. Первая проистекала из вражды, разгоревшейся между ним и тушей бледного мяса, вражды, раздутой и оплодотворенной его нападением на главного повара. С еще большим тщанием, нежели прежде, избегал он любого коридора, двора, галереи, в которых перед ним могли возникнуть безошибочно узнаваемые очертания врага. Выполняя свои обязанности, господин Флэй ни на миг не забывал, что в замке засел недруг, его постоянно преследовала мысль, что именно в этот миг в отечной голове Свелтера вызревает, быть может, некий злодейский замысел, проклевывается страшный птенец, имя которому – *месть*. Какие способы отмщения изыщет или измыслит повар, Флэй не мог и вообразить, но оставался неизменно настороженным и в темной голове его непрестанно прокручивалось то или иное забредшее туда предположение. Если Флэй и не был напуган по-настоящему, то во всяком случае томился опасениями, граничащими со страхом.

Второй повод для тревог дало ему исчезновение Стирпайка. Две недели назад он запер мальчишку, а когда двенадцать часов спустя вернулся с кувшином воды и тарелкой картошки, комната оказалась пуста. С тех пор о стервеце не было ни слуху ни духу, и хотя сам по себе он господина Флэя нимало не занимал, беспокоило, однако же, и столь феноменальное исчезновение, и то обстоятельство, что этот юнец, принадлежащий к числу Свелтеровых поварят, может, ежели возвратится в зловонные места, из коих поначалу бежал, рассказать о встрече с Флэем и, возможно, представить повару всю историю в искаженном свете, заявив, что его обманом выманили из привычных покоев и лишили свободы с некоей мерзостной целью, которую сам же и придумает. А кроме того, господин Флэй помнил, что мальчишка подслушал слова, сказанные лордом Гроаном о сыне, слова, способные, буде они станут известными мелкой замковой сволочи, причинить ущерб величию Горменгаста. Негоже, если с самого начала карьеры нового лорда Гроана все будут знать, что он уродлив и это угнетает лорда Сепулькревия. Как следует поступить, чтобы заткнуть сопляку рот, Флэй еще не надумал, однако полагал очевидным, что первым делом надлежит его отыскать. В свободные свои минуты он обыскивал комнату за комнатой, балкон за балконом, но не нашел ничего, способного указать местонахождение беглеца.

По ночам, лежа на полу перед дверью хозяина, он порою вздрагивал, просыпался и рывком садился на холодных досках. Сначала взорам его являлось лицо Свелтера, огромное, расплывчатое, с остекленелыми, холодными и беспощадными глазками в складках плоти. Дернув вперед сухой, коротко стриженной головой, Флэй вытирал об одежду вспотевшие ладони. Затем, как только отвратительный фантом растворялся во тьме, сознание вновь заманивало Флэя в пустую комнату, где он в последний раз видел Стирпайка, а воображение вело его, ощупывающего панели, вдоль стен и наконец приводило к окну, и он снова глядел вдоль отвесной стены во дворик, лежащий в сотнях футов внизу.

И Флэй, с треском распрямляя колени, вытягивался в темноте, ощущая железистый вкус ключа, который сжимал в зубах.

То, что на деле произошло в Восьмиугольной Комнате, причитая сюда и дальнейшие, приключившиеся со Стирпайком события, сводится к следующему:

Едва в замке повернулся ключ, юноша рысцой подскочил к двери и, приложив глаз к замочной скважине, увидел удаляющееся по коридору седалище Флэевых штанов. Он услышал, как Флэй свернул за угол, как где-то далеко хлопнула дверь, потом наступила тишина. Наверное, всякий на его месте подергал бы дверную ручку. Таков инстинкт, пусть и неразумный, но могущественный – первый порыв человека, желающего вырваться на волю. Стирпайк с секунду смотрел на ручку. Он слышал, как повернулся ключ. И не стал противиться

простой логике разума. Оборотясь спиной к единственной в комнате двери, он высунулся в окно и глянул вниз.

Внешне Стирпайк производил впечатление уродца, трудно, впрочем, было б сказать, чем оно, собственно, создается. Взятые по отдельности, части его тела выглядели достаточно ладными, но вот соединение их давало неожиданно кривое целое. Лицо юноши отличало глинистой бледностью и, если бы не глаза, могло показаться маской. Глаза, маленькие, темно-красные и пугающе пристальные, сидели очень близко.

Полосатая кухонная тужурка обтягивала его. Белая шапочка была сдвинута на затылок.

Глядя вниз, он подобрал губы и быстро обшарил глазами далекий дворик. Затем вдруг оставил окно и покружил своей странной полупробежкой по комнате, словно движимый потребностью заставить руки и ноги работать в одном ритме с мозгом. И снова вернулся к окну. Все вокруг тонуло в безмолвии. Послеполуденный свет начинал уже меркнуть в небе, хотя обрамленный окном вид башен и кровель еще сохранял теплые тона. Бросив через плечо последний, все охвативший взгляд на стены и потолок своего узилища, он сцепил за спину руки и снова сосредоточился на узком окне.

На этот раз, рискованно перегнувшись за подоконник и обратив лицо к небу, он оглядел грубые камни стены *над* окном и обнаружил, что футов в двадцати вверх они переходят в свес сланцевой кровли. Кровля завершалась длинным отлогим хребтом наподобие контрфорса, а тот в свой черед уходил гигантским изгибом к главным крышам Горменгаста. Из двадцати футов над ним, казавшихся на первый взгляд неодолимыми, опасны были, как заметил Стирпайк, только первые двенадцать – всего лишь несколько выступов предлагали на этих неровно отесанных камнях головокруглительно ненадежные точки опоры. Выше свисал с кровли сероватый, иссохший, полумертвый побег плюща, протягивая вниз мохнатую руку, по которой, если только она не разорвется под грузом его тела, залезть наверх будет сравнительно просто.

Стирпайк рассудил, что, добравшись до свеса, он сможет без особых трудов обойти весь внешний остов центрального Горменгаста.

Снова впился он взглядом в первые двенадцать футов отвесного камня, отбирая и изучая захваты, которыми сможет воспользоваться. Это осмотр оставил в нем неудобное чувство. Приятного ожидается мало. Чем внимательнее вглядывался юноша в стену, тем меньше нравилось ему предстоящее, однако он сознавал, что попытка *может* увенчаться успехом, если отдаться ей каждым своим помышлением, каждым нервом и каждой жилкой. Он выпрямился, вернувшись в комнату, к молчанию которой добавилось теперь ощущение надежности. Перед ним два пути. Либо ждать, и со временем Флэй предположительно возвратится и, как подозревал юноша, попытается вновь водворить его в кухню, – либо рискнуть и попытаться сбежать.

Резко сев на пол, он стянул башмаки и, связав их шнурки, повесил на шею. Затем записал носки в карманы и встал. Приподнявшись посреди комнаты на цыпочки, он развернул ступни пятками вовне и ощутил, как их наполняет, покалывая, уверенная сила. Он резко распылил пальцы, чтобы пробудить руки. Ждать было нечего. Встав коленями на подоконник, Стирпайк развернулся лицом к комнате, медленно поднялся на ноги и замер, уже снаружи окна, с мерцающим на лопатках бездонным замирающим светом.

«ПОЛЕ КАМЕННЫХ ПЛИТ»

Не позволяя себе думать о веющей дурнотою пропасти внизу, Стирпайк впился взглядом в первый зацеп. Левая рука его ухватилась за верхнюю перемычку оконницы, правая ступня нащупала и обвила искривленными пальцами шероховатый каменный выступ. Почти сразу его прошиб пот. Правая рука поползла вверх, пальцы нашарили трещину, обнаруженную им при осмотре стены. Прикусив нижнюю губу так, что кровь заструилась по подбородку, он двинул вдоль стены левое колено. На все про все у него ушло минут, возможно, семнадцать, но по часам его колотящегося сердца он провел на обморочно раскачивавшейся стене целый вечер. Были мгновения, когда он почти уж решался махнуть рукой на жизнь и на все остальное и отвалиться спиной в пространство, которое разом покончит и с этой тяготой, и с этой тошнотой. В другие же миги он, отчаянно прижимаясь к стене, пролагая путь в тошнотворном тумане, обнаруживал, что повторяет строки каких-то давно позабытых стихов.

Пальцы почти уже не служили ему, колени и локти ходили ходуном, когда лицо Стирпайка кольнули изодранные волокна, свисавшие с мертвой ветви плюща. Он вцепился в нее правой рукой и ноги его тут же потеряли опору, так что миг-другой он провисел, раскачиваясь в пустом воздухе. Однако в руках еще сохранилась способность припрячь к работе мышцы, доселе не пригодившиеся, и хоть предплечья юноши хрустели от натуги, он пролез оставшиеся пятнадцать футов, продираясь сквозь плотную, колючую поросль, надежно его державшую, — лишь небольшие сучья с треском обламывались по бокам. Достигнув водостока, он лег ничком, обессиленный, сотрясаемый фантастической дрожью. Так он пролежал не менее часа. Затем, приподняв голову и увидев вокруг пустой мир замковых крыш, юноша улыбнулся. То была молодая улыбка, улыбка, шедшая его семнадцати годам, внезапно преобразившая пустоту нижней части лица и так же внезапно погасшая; оттуда, где он лежал поперек нагретых солнцем сланцевых плит, видны были только участки этого нового кровельного мира да огромный простор угасающего неба. Он приподнялся, опираясь на локти, и вдруг заметил, что та часть кровельного желоба, в которую упираются его ступни, вот-вот обломится и полетит вниз. Только проржавевший металл и отделял его весомое тело, лежавшее на крутом сланцевом скате, от долгого падения в маленький дворик внизу. Ни мгновения не помедлив, Стирпайк начал постепенно продвигаться по скату вверх, отталкиваясь ногами, втираясь лопатками в покрытую пятнами мха крышу.

Хотя какая-то сила и вернулась в отдохнувшее тело, юношу все же вырвало, пока он полз по сланцу вверх. Подъем оказался длиннее, чем представлялось снизу. Собственно, все, из чего состояла крыша — парапет, башенки, свесы, — оказалось гораздо большим, чем он воображал.

Добравшись наконец до конька, Стирпайк сел на него верхом, чтобы вновь отдышаться. Озера меркнувшего дневного света окружали его.

Хребет, который он оседлал, шел широким изгибом, ломаемым на западе первой из четырех башен. За башнями изгиб повторялся, замыкая полный круг далеко справа от Стирпайка. В этом месте вздымалась высокая поперечная стена. От хребта к верху стены вели каменные ступени, а от них узким мостком можно было добраться до пустого пространства размером с доброе поле, окруженное пусть и не такими высокими, но не менее грузными, обветшалыми строениями — смежными крышами, башнями, меж коих различались вдаль новые крыши и новые башни.

Взгляд Стирпайка, следуя вдоль крыш, в конце концов добрался до парапета, окружавшего пустое пространство. С места, где он сидел, Стирпайк не мог, разумеется, представить себе само это каменное поле, лежащее под открытым небом в целой лиге от него и выше

его глаз, но поскольку главный массив Горменгаста вздымался на западе, Стирпайк туда и пополз по кровельному коньку.

Больше часа ушло у него на то, чтобы добраться до места, где один только парапет заслонял от него каменное поле. Устало и упрямо взбираясь на этот парапет, Стирпайк не знал, что лишь несколько секунд и несколько вытесанных камней отделяют его от зрелища, за последние четыреста лет не открывавшегося никому. Юноша перетащил, обдирая, колено через верхний камень, перевалился на грубую стену. И когда он поднял усталую голову, чтобы посмотреть, какое препятствие ожидает его теперь, то увидел перед собой раскинувшуюся на четырех квадратных акрах пустыню серых каменных плит. Четырехфутовый парапет, на котором он, вытянувшись в струнку, сидел, окружал это пространство, и Стирпайк, перекинув через камень парапета ноги, прыгнул вниз. В миг, когда он приземлился, слегка отшатнувшись назад, чтобы упереться спиной в стену, с дальнего края каменного поля взмыл в воздух журавль, проплыл, медленно ударя крылами, над далекими зубчатыми стенами и скрылся из виду. Солнце уже опускалось в лиловатую дымку, каменное поле, пустое, если не считать фигурки Стирпайка, уходило вдаль, холодные плиты перенимали у неба главный его оттенок. Темный мох виднелся меж плитами и длинные стебли самосев-ной травы. Алчные глаза Стирпайка пожирали гигантскую эту арену. Как ее можно использовать? Определенно это была самая сильная карта, выпавшая ему со времени побега, а он намеревался набрать таких целую колоду. Зачем, как и когда воспользуется он накопленными обрывками знаний, Стирпайк и сам не сумел бы сказать. Пригодится на будущее. Сейчас он сознавал лишь, что, рискнув жизнью, набрел на колоссальный каменный квадрат, столь же укромный, сколь и голый, столь же сокровенный, сколь и открытый гневу и нежности стихий. Он опустился у стены на колени, свернулся в клубок и погрузился в полусон, полу-обморок, и тут лиловый отблеск волной прокатился по каменным плитам, и солнце пропало.

«ПО КРОВЕЛЬНОЙ СТРАНЕ»

Тьма опустилась на замок, на Извитой Лес, на Гору Горменгаст. Сгустившийся мрак беззвездной ночи укрыл длинные столы Внешнего Люда. Кактусовые деревья и акации, под которыми совсем недавно прошла нянюшка Шлакк, и древний тёрн во дворике слуг, все они, окутанные одной плащаницей, стали неотличимы. Тьма налегла на четыре крыла Горменгаста. Тьма лежала у стеклянных дверей Крещальной Залы, продавливая свое неосязаемое тело сквозь листья плюща в заросшем окне леди Гроан. Приникая к стенам, пряча их от всего, кроме разве касания, пряча их, пряча все, все поглощая в ненасытимой своей вездесущности. Тьма налегла на поле каменных плит, и незримые облака неслись сквозь нее. Тьма налегла на Стирпайка, который спал, просыпался, снова впадал в обрывистый сон и вновь просыпался – в скудной одежке, пригодной более для удушающей кухни, чем для наготы ночи. Дрожа, глядел юноша в сплошную стену ее, оживленную от силы одной неприметной звездой. Потом он вспомнил о трубке. В жестяной коробке, лежавшей в кармане штанов, еще оставалось немного табаку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.